Владимир Рынкевич

Семинар по философии



Владимир Рынкевич

Семинар по философии

Рассказы
и повести

Москва
«Современник»
1980

Р2
Р95

Рынкевич В. П.

Р95 Семинар по философии: рассказы и повести. — М.: Современник, 1980. — 222 с. — (Новинки «Современника»).

Герои рассказов и повестей В. П. Рынкевича — наши современники, судьбы которых связаны с Великой Отечественной войной и трудовыми свершениями советского народа. В ряде произведений действуют ученые — физики, инженеры, работники государственных учреждений, активно участвующие в осуществлении научно-технической революции. Основная мысль автора в том, что истинное счастье человека — это честное и самоотверженное исполнение долга перед своим народом.

Р $\frac{70302-037}{М106(03)-80}$ 75—80 4702010200

ББК84. Р7
Р2

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВРЕМЕННИК», 1980 г.

Далекое голубое сияние

Но вечно пусть будет все это,
Что свято я в жизни любил:
Тот город, и юность, и лето,
И небо с блуждающим светом
Неясных небесных светил...
Н. Рубцов

В том древнем северном городе в самые злые морозные вечера высоко и далеко, не над низкими крышами пустынно-снежных улиц Заречья, а где-то над кладбищем или, может быть, еще дальше, над нетронутыми сугробами темных полей, возникали дрожащие огни сияния, ненадежные, потухающие и вспыхивающие вновь, похожие на отблески электросварки. Чаще всего почему-то появлялись развешенные в мутной гуще неба светящиеся цилиндрические фигуры, сотканные из множества голубых полос, напоминавшие старинные абажуры со звенящими стеклянными висюльками. В такие вечера мороз особенно жег лицо, и у офицеров, спешащих из казармы за реку, в центр, немели ноги в сверкающих узконосых туфлях и шелковых носках.

Вскоре после войны он, юным лейтенантом, служил здесь, и город казался ему обыкновенным провинциальным гарнизоном, и ни за что бы не поверил он тогда, что через двадцать лет это место окажется известнейшим культурным центром и со всего мира кинутся сюда туристы восхищаться церквами, прялками, черными банями, иконами и прочей стариной.

Кстати, в комнате, которую он снимал, висела какая-то древняя икона в потемневшем окладе, вспыхивающем ребристым сверканием, если взглянуть на нее с определенной точки, с лицом святого в фигурной прорези, написанном добротной краской, уже потрескавшейся, но сохранившей удивительный темно-желтый с красным оттенок, будто вызванный неярким огоньком свечи. В более поздние времена какой-нибудь любитель модной старины схватил бы эту икону дрожа-

щими руками и поместил на самой главной стене своей кооперативной квартиры, а лейтенант потребовал ее убрать. Он привык к другим портретам.

Тогда на многое смотрели иначе. Например, надо признаться, что крепко пили, руководствуясь при этом известными сентенциями народной мудрости типа «пей, да дело разумей», «пьяный проспится, а дурак никогда», да и на фронте привыкли, что главное в человеке, чтобы он воевал хорошо, товарищей не предавал, а если сволочь, то, что пьяный, что трезвый, а все равно ведь сволочь.

Вот и лейтенант Водилин, выйдя в ноябрьский праздничный вечер из военного городка, где сутки пробыл в наряде начальником караула, посмотрел вдоль темной пустой улицы со старыми деревянными домами, с глухими заборами, с неяркими желтыми огнями в окнах, представил шумный хмельной разгул за бревенчатыми стенами, приметил особенный низкий квадратный огонек ближайшей палаточки и заспешил за реку, в центр.

В гарнизонном Доме офицеров в этот вечер было особенно многолюдно, дымно и шумно. В фойе, на широченном старинном подоконнике, на котором можно было лежать поперек, сидел в окружении толпы офицеров незнакомый капитан связист и декламировал стихи Симонова о «деревянном домотканом городке, где гармоникой по улице мостки». Вокруг развесистосводчатой колонны сновали девушки, снимали шубки и валенки, обували туфельки, причесывались. В зале гарнизонный духовой оркестр играл вальс «Березку», его было слышно и в кафе, где над столиками звенели густые ряды фронтовых медалей, сверкали боевые ордена, радужно полосатились орденские колодки: оранжево-черные гвардейские, красно-голубые, зелено-желтые и не перечесть каких еще цветовых сочетаний, как не перечесть километров военных дорог, пройденных этими людьми.

У молодых офицеров разговоры обычные: пять минут ругают начальство — остальное о женщинах.

— А эта немочка мне говорит: натюрлих, — рассказывал капитан Кульков, танкист.

Говорили, что под Берлином Кульков горел в танке, и все тело его в рубцах и шрамах, а лицо чудом

уцелело. Сам капитан об этом не говорил, но никогда не купался и не загорал.

— Почему, Юрочка, опаздываешь? — спросил капитан, заметив Водилина.

— У него был караул, и он каждые два часа менял ему пеленки, — сказал полковой поэт, артиллерист Володя, автор многих застольных песен, стихов и даже гимна одного из артиллерийских училищ («настанут, как в сказке, дела боевые, но будем с любовью всегда вспоминать: училище наше и дни молодые, когда нас учили врагов побеждать»).

Двери кафе то и дело открывались, впуская вместе с посетителями ритмы вальса «Березка».

— Какой прекрасный вальс, — сказал Водилин.

— Прекрасный, прекрасный, — проворчал Кульков. — Водки хочешь?

— Для меня один старинный русский вальс, — не унимался Юрий, — например, эта же «Березка», дороже всех вальсов Штрауса вместе взятых.

— Ты не здесь с этим выступаешь, — сказал поэт.

— А я сейчас выступлю, — сказал Кульков.

Он с помощью чистого носового платка сделал в стакане несмешивающийся двухцветный «русский коктейль» — внизу пиво, сверху водка, и выпил, не дотрагиваясь до стакана руками, взяв его в зубы и медленно запрокидывая голову.

За соседним столиком, где сидели седые старшие офицеры, разговоры велись другие: «Наревский плацдарм... Огневой вал... Нет, Сашку позже убило... Нойбранденбург... Генерал Федюнинский... Наша армия шла левее...»

В зале вальс уже кончился, и оркестр браво играл популярнейший трофейный фокстрот «О, Роземунда». Под его ритмы можно было напевать всякую нелепицу, вроде: «Четыре года таскал шинель, и надоела вся канитель...»

Хотелось встретить знакомую студентку из местного педагогического института, но ее не было, а у стены, ожидающе поглядывая на Юрия, стояла девушка, вернее, молодая женщина, с которой он раньше уже несколько раз танцевал и говорил. Была она невысокая, крепко сбитая, одинаково широкая и в плечах и в бедрах. В городе много встречалось таких прелестных

обрубочков, светловолосых, голубоглазых и курносеньких. Офицеры острили, что здешние женщины потому курносые, что деревянные мостки на тротуарах поломаны: наступишь на конец доски — она поднимается и другим концом девушке нос кверху подправляет. Тоня выделялась из толпящихся у стен танцевального зала тем, что обычно на жакете ее светло-серого костюма сверкал боевой орден Красной Звезды, и тем, что лицо ее было странно-серьезным, чуть ли не обиженным, как будто она узнала нечто страшное, чего лучше бы не знать. Она всегда была одна, танцевали с ней мало, наверное, по той же причине, по которой стеснялся подойти Юрий: смущал боевой орден.

В тот вечер Тоня пришла не в костюме с орденом, а в черном блестящем шелковом платье. Юрий пригласил ее на танго, и она не отстранилась, когда полная ее грудь тесно прижалась к лейтенантскому кителю, глаза с ярко-синими точками зрачков смотрели без стеснения прямо.

— Наконец-то догадался. А я думаю: чего это он все мимо проходит? Аль не признает?

Золотисто-рыжие волосы, широкое лицо, тоже отсвечивающее золотисто-соломенным, наверное, из-за редких мелких веснушек, платочек в правой руке, предохраняющий партнера от потной ладони, запах немецких духов и горячего женского тела — все это было совсем не похоже на ту чистенько-нежную студентку в белом платье, которую придумал для себя лейтенант.

Они сидели с Тоней в кафе, потом танцевали, разговаривали о модном трофейном фильме «Девушка моей мечты» с Марикой Рокк в главной роли, о том, что в Доме офицеров очень тесно и лучше бы ходить во Дворец культуры железнодорожников, но там много шпаны, и все время Юрий ощущал серьезность происходящего и удивлялся своему убедительному и нежному голосу и непривычно уверенным движениям, когда вел Тоню в танце, провожал к стульям и потом одевал ее, придерживая шубку на полной колышущейся груди.

Тоня жила далеко, у речной пристани, и долго вела его по темным пустым улицам, рассказывая о том, что живет с младшей сестрой, что работает бригадиром на льнокомбинате и завтра утром должна прийти в

цех, иначе план полетит. О войне Юрий не спрашивал.

— Сестрица спит без задних ног, — сказала Тоня, введя его в душно-теплую длинную комнату, разделенную перегородкой с открытым проемом вместо двери на две неравные части. В первой, маленькой и темной, на узкой кровати спала девушка. В большой было чисто и чинно, как в хорошей деревенской горнице. Под окном стояла широкая кровать с пышной периной, с тремя большими подушками и маленькой «думкой», вышитой крестом. Тоня зажгла керосиновую лампу (свет по ночам часто не горел), и в глазах ее засверкали золотистые пятнышки, в том месте, где синевато-зеленое глазное яблоко отчеркивалось от белка темным ободочком.

— Ой, ужарилась.

Тоня расстегнула верхнюю пуговичку платья и улыбнулась загадочно: не то ожидающе, не то насмешливо.

Она расстегнула еще одну пуговичку и откровенно вытерла платком шею и грудь. Платочек она положила на край стола, и он упал возле ее ног.

— Пусть валяется.

— Я подниму.

Юрий нагнулся, поднял платок, прикоснулся щекой к теплым ногам Тони и грубо схватил ее снизу. Смеясь, Тоня мягко оттолкнула его.

— Чего это ты туда полез? Ишь, какой хитренький.

— Тоня!.. Я... Ты же понимаешь...

— Губки у тебя пухленькие, как у ребеночка. Дай поцелую. Хорошо тебе?

— Да...

— Еще поцеловать?

— Да... Погаси лампу...

— Что ты делаешь со мной? О-ох!

Она быстро стащила с себя одежду, бросая ее как попало: на стол, на стулья, на комод. Шелковое платье упало на пол, и Тоня не подняла его: «Пусть валяется». Не было ни слов, ни поцелуев, и Юрий, вжавшись в ее крепкие жадные объятия, ощутил, что все свершается.

— Ну вот, — сказала Тоня, когда он лежал рядом и не мог сдержать счастливый хмельной смех. — Ну вот. Уже и смеешься надо мной.

— Нет. Не над тобой, Тоня. Просто мне хорошо.

— Чего ж тебе не смеяться? Согрешила я, дура. В первый же вечер. Это все вино проклятое. Или это не грех? А? Юрка? Ведь это хорошо? Да? Ведь это любовь! Это жизнь! Да?

— Да, Тоня. Это жизнь.

Они мало спали в эту ночь. Тоня, не стыдясь, показывала могучее, нежно-округлое тело, предлагала ущипнуть и довольно смеялась, когда его пальцы соскальзывали с упругих бедер, как с теплого гладкого бревна («Здесь ничего лишнего нет — одни мускулы. Я ж была лучшей лыжницей в городе»). И сама ласкала его, целовала, любовалась юношеской смуглой кожей, называла: «мой цыганеночек», «мой копченый».

Утром Тоня разбудила его еще затемно, зажгла свет, заставила одеваться.

— Кто же работать-то будет, если все спать завалимся? — говорила она, бросая ему белье. — Кальсоны-то носишь, чтобы задницу прикрыть, а из чего их шьют-то?

Свет из комнаты косо падал на кровать, где спала сестра, и Юрий заметил, что она проснулась, хихикнула и отвернулась к стене, досыпать.

Уже застегивая китель, Юрий увидел над комодом фотографию в рамке: крупнолицый угрюмый капитан в старой еще форме: шпала и артиллерийские эмблемы в петлицах гимнастерки.

— Не спрашивай, — сказала Тоня. — Нету его. Давно нету. А ты есть.

Вернувшись домой, лейтенант разделся и, едва коснувшись подушки, вновь увидел рядом Тоню. Он тянулся к ней, Тоня отталкивала и смеялась: «Ишь, какой хитренький!» Он снова протягивал к ней руки, упирался в стену и проснулся уже среди дня. Болела голова, но тем не менее он дотянулся до стула, где лежали папиросы, и задымил «Беломором». Тошный туман поплыл в глазах, сгущаясь в висках горячей пульсирующей болью. И все же мир был прекрасен. Ведь это было! И вечером Тоня ждет его! На спинке стула — китель с лейтенантскими погонами, под подушкой — пистолет «ТТ», на столе — «Правила стрельбы наземной артиллерии» и роман «Порт-Артур», в полк идти не надо и, значит, можно привести организм к нормальному бою.

В комнату постучала хозяйка и, просунув голову в приоткрытую дверь, сказала, певуче окая:

— Уж пора вставать-то. Один человек с тобой поговорить хочет.

Лейтенант надел бриджи, до блеска вытертые о нары караульных помещений, натянул сапоги, еще не очищенные от грязи тропинок, ведущих к дальним постам, набросил на плечи китель и пошел в комнату хозяйки. Человек, желавший поговорить, сидел за столом, спиной к широкому комоду, стоявшему между светлыми окнами, и его сразу трудно было рассмотреть.

Прозвучал высокий, пронзительный, с генеральской хрипотцой голос:

— Что это вы, поручик, в таком виде?

Сам незнакомец был одет в старый китель без погон, выцветший, но очень чистый, наверное, стираный. Пуговицы, по-видимому, чистились сегодня. Юрий же за свои собрался взяться только вечером. Человек был сух, даже тощ, сидел прямо и вздергивал голову кверху подбородком. Юрий подумал, что перед ним старый служака, инвалид какой-нибудь войны, бодрящийся, чудаковатый, любящий рассказывать с своих былых подвигах и поучать молодежь.

— Что же вы, поручик? Разве так должно относиться к мундиру армии Российской? Фронтовик? На каком фронте сражались? Маловат у вас боевой опыт. Не попадались, наверное, Георгию Константиновичу с нарушением формы. Или в бой ходили с расстегнутыми пуговицами?

Юрия не тронули эти нелепые старчески-солдафонские упреки. Он мог бы вообще повернуться и уйти, и, если, изобразив смущение, застегнул китель, как положено, то лишь для того, чтобы не обидеть старика. Да и почему за праздничным столом не посидеть?

— Давно хотел с вами познакомиться, побеседовать, — сказал старик. — Хочу знать, чем дышит наш новый офицерский корпус. Хочу знать, в чьи руки мы передаем армию. Выпьем по случаю красного дня. Я расскажу вам, поручик, о том, как мы в свое время дорожили честью мундира...

Рассказы его были, наверное, правдивы, но казались

сказочно неправдоподобными, как само то время, когда существовала армия, называемая теперь не «царской», а «русской». То была армия Суворова и Лермонтова, поединков за честь мундира, лихих кутежей с цыганами, катанья на тройках, пылающего пунша, армия Бородинского сражения и победоносного похода через всю Европу.

— Кавалерийский полк, в котором по традиции служили все мужчины нашего рода, — рассказывал старик, — под Аустерлицем первым обратился в бегство. Его преследовали кавалеристы Мюрата с кличем: «Заставим плакать петербургских дам!» За это по повелению государя-императора офицеры полка были лишены права носить темляки на шашках. Более ста лет висел позор над полком. И у меня была шашка с голой рукояткой. В 1915 году я стал командиром этого полка, шла мировая война, мы, кавалеристы, как и вся армия, сидели в окопах, и клинки наши все еще были без темляков. И тогда мои сослуживцы на офицерском собрании решили подать петицию государю. Мы просили разрешить нам атаковать немецкие позиции в конном строю с тем, чтобы смыть кровью позор Аустерлица. Нам разрешили, и я сам повел полк в кавалерийскую атаку на колючую проволоку, на пулеметы. Многие остались там, на поле, на проволоке, но мы взяли позиции! Взяли! За это нам вернули право ношения темляков. Воинская форма — святыня! Воинское знамя — святыня! Вспомните, поручик, величественный финал величайших из войн, которые вела Россия! Знамя победы над берлинским рейхстагом! Знамя! Вечная память, вечная слава героям, погибшим за нашу великую страну!

В окна бил молочно-серый ровный свет пасмурного дня. На доме напротив в монументальной безветренной неподвижности алел Государственный флаг. По улице шла праздничная компания, гармонист рванул мехи — и услышалось разудало-отчаянное:

Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна....

Женщина, раскинув руки, лихо отбила чечетку по заледенелым мосткам.

А на столе: маслянисто-скользкие грибки, пересы-

панные искрящимся луком, бело-желтая капуста, испещренная оранжевыми мазками моркови, местный деликатес — пирог с рыбой, запеченной целиком на верхней корочке.

— Русский артиллерист — это храбрость и точный расчет, — продолжал старый служака свои рассказы. — Это было всегда. В четырнадцатом году я шел с приданной мне батареей в Галиции. По артиллерийскому уставу в передке каждого орудия возили неприкосновенный запас — шестнадцать шрапнелей с трубкой на картечь, и когда из леса в полуверсте от меня с фланга выскочили австрийские уланы, я только скомандовал: «Хобота направо! С передков! Картечью беглый!» Вы, конечно, знаете, поручик, что такое картечь? В десяти метрах от орудия шрапнель разрывается и выбрасывает вперед смертельный град из нескольких сотен свинцовых шариков...

— А вот бражки-то выпей, Юра, — сказала хозяйка.

Бражка — простой напиток: хлеб, солод, сахар, дрожжи. Вроде ничего страшного. Безобидная жидкость, густая и сладкая, с цветом и запахом хлебного кваса. Правда, иногда по ошибке туда вливали еще и водки. Хозяйка готовила бочонок браги литров на пятьдесят, и хватало его надолго, потому что человек обычно терял сознание после третьего стакана.

— Уж бражка-то больно хороша. Выпейте по стаканчику-то.

— Боюсь, плохо мне будет.

— А ничего-о, — успокаивала хозяйка. — Это и не праздник, если крыльцо не облёвано...

Кончилось тем, что лейтенант расстался со стариком, так и не успев узнать, кто он, а вечером ушел к Тоне и от нее утром прямо в полк. Лишь через несколько дней он спросил у хозяйки об этом человеке, и ответ ее был поразителен: она назвала фамилию, известную всем с детства из учебников истории.

— Да. Это его правнук, — подтвердила хозяйка. — Он же мой зятек. На нашей Шурке женат.

Хозяйкина сестра Шура часто заходила сюда. Была она, конечно, в возрасте: лет сорок пять, и морщины разрисовали круглое мягкое лицо, но, взглядывая вдруг на юного лейтенанта, озорно поблескивала глазами и поджимала губы в тайной женской улыбке, не

то смущенной, не то бесстыдной. Было странно думать, что эта женщина носит такую фамилию, и вспоминался смугло-желтый прямоугольник сухого лица, небольшой горбатый нос, крутой лоб, скудный ежик пепельно-седых волос, и уже казалось, что все это почти копия портрета великого полководца.

Хозяйка рассказывала о своем зяте буднично просто: видно, привыкла к его странной биографии, да и разве у него одного жизнь давала в те времена такие крутые повороты. Из ее рассказов возникал образ человека, выпущенного из местной белокаменной тюрьмы в голодную зиму двадцать второго года. Обтрепанное штатское пальто сидело на его сухом стройном теле, как парадная офицерская шинель.

— Вот здесь-то он и жил поначалу, — говорила хозяйка. — Спал, значит, прямо вот тут. А летом — так в чуланчике.

Между комнатой лейтенанта и хозяйской горницей было темное помещение, свет в которое попадал только, если открывалась дверь на кухню. В углу стоял обычный железный умывальник с сосочком, вдоль стен теснились какие-то пыльные сундуки и узлы. Здесь и жил потомок полководца. Приходил с работы из какой-то артели, лежал на койке, где вместо пружин — кое-как обструганные доски, смотрел в душную темноту, вспоминал родных и друзей, погибших в боях, вспоминал какие-нибудь темные липовые аллеи родового имения...

Хозяйка рассказывала, что он любил напевать старые военные песни. Мелодия была общеизвестна: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов», но слова другие: «Смело мы в бой пойдем за Русь святую».

— И дождь ли, буран ли, а каждый вечер пальтишко на плечи — и пошел, как нанятый. Это у него, значит, вечерний моцион. А уж куды с добром моцион, когда и жрать-то нечего. Придет, две картохи очистит, сольцы насыплет — и все. А соль-то была лошадиная: черная, крупная. Я, бывало, стою здесь и уж больно мне его жалко...

Стол, конечно, остался с того времени. Обыкновенный кухонный стол с тяжелыми некрашеными досками, до зеркальной гладкости отполированный бабьими неустанными руками. Жилец сидел с той стороны, где

печка к сеням, а хозяйка стояла у двери в горницу, прислонившись к притолоке, пригорюнившись.

— Если я не пройду вечером три версты ускоренным шагом, то не могу заснуть, — говорил он, прожевывая картошку.

— Мой хозяин-то все боится, что домишко у нас отберут, — поддерживала разговор хозяйка. — Уж и не знаю, что будет-то.

— Не печальтесь о доме, о вещах, Екатерина Петровна. Не это главное в жизни. Я потерял столько домов... Семью, друзей, идею, веру. Но, оказывается, главное осталось. Россия осталась со мной. Шел сейчас по метели и видел те же сугробы, дышал тем же воздухом, что и в детстве. Ехали сани навстречу, и полозья их скрипели. Шли откуда-то с гуляния и пели ту же старую песню: «Хас-Булат удалой! Бедна сакля твоя». И я радуюсь этой песне, этому русскому морозу, радуюсь, что осталась Россия, и в сердце моем осталась любовь к ней, и даст бог послужу я еще своей стране.

— Не больно-то порадуешься на сухой картохе. Погодите-ко, я вам пирожка достану.

— Спасибо, Екатерина Петровна. Прекрасная вы женщина. Видел я всяких: и француженок, и полячек, и певичек, и наших аристократок бледнокожих, но только в простой русской женщине, особенно северянке, в такой, как вы, можно найти настоящую красоту.

— Ну уж... Вы не больно-то... Да и пойду я, а то мой домовладелец зашумит.

Наверное, хозяйка была хороша тогда, а сестра ее и вовсе только-только в семнадцатилетние выходила. Прибегала сюда, говорила о чем-то со своей старшей, а сама поглядывала на квартиранта и поджимала губы в таинственной женской улыбке, не то смущенной, не то бесстыдной.

Хозяйка рассказывала, что венчались они по-старинному, в церкви, и зажил бывший князь просто и тяжело. Копался в огороде, торговал на рынке, стоял в очередях и отоваривал продуктовые и промтоварные карточки. Раздражающе-непонятной, не укладывающейся в затверженные с детства жизненные формулы, казалась лейтенанту судьба этого странного человека.

Юрий думал о нем по ночам, отодвинувшись от Тони и отвернувшись, глядя в сторону и вверх, где над

слабым голубоватым сиянием ночного окна, в углу под потолком, особеиио сгущалась темнота. После Тониной ласки ои ощущал особое радостное опьянение, когда мысли не путаются, как от вниа, а иаоборот, обостряются, и мир виднтся ясным и простым, и чувствуешь себя чуть ли не богом, способиым все понять и объяснить, всего добнться.

— Он просто решнл как-нибудь просуществовать, — говорнл Юрий.

— Не больно-то плохо ему и жилось, — возражала Тоия. — Мы до войны хуже жили. У нних домища какой! Корова...

— Ты ие поиимаешь, Тонька. Он же аристократ, князь, голубая кровь.

— Не больио-то она у них и голубая. И брюхо такое же, как у всех: жрать просит.

— Ты пойми, что многие аристократы не смирились с революцией, с потерей своих богатств н привилегий. Они боролись до конца и шли иа смерть. Помиишь «Чапаев»?

— Глупый ты еще мальчик. Сколько я про войиу картии виндела, а того, что было, иикогда не покажут. Мальчишка ты еще. Дурачок.

Оиа часто называла его глупым мальчнком, но ие обидно, а ласково, жалостлнво, как старшая сестра. И в ласках Юрнй был для нее глупым иеумелым мальчнком. И она смеялась над ним. Сама же любнла его радостио, самозабвеиио, бесстыдио, а потом говорила что-иибудь грубовато-лукавое («закуришь после трудов праведных?»), илн рассказывала какне-нибудь сомнительно-любовные нсторнн, илн даже напевала какнето иелепые частушки. Но ниогда вдруг стаиовнлась жалкой, малеиькой, беспомощиой, прижималась к Юрню, тормошнла его, шептала горячо и сбивчиво:

— Ты же ие броснщь меия, цыгаиеиочек? Ну чем я тебе плохая? Я знаю: тебе девочка нужиа иетронутая. Студенточка. Вндела я тебя с ией в Доме офнцеров. Думаешь, тебе с такой лучше будет? Она же иичего не умеет и не зиает. Ни жнзни ни смерти ие знает. Ну чем я тебе плохая? Все у меия есть. И на работе я первая. Премню к празднику дали. Хочешь сына тебе рожу? Настоящий будет мужик, солдат. А? Цыганеночек? Ну чем я тебе плохая?

— Ты хорошая, — сннсходительно бормотал сквозь сон Юрий.

— Ой, бросишь ты меня. Забудешь. И чем я тебе негожая? Что на фронте была? А ты видел фронт? Ты только вндел, как в Бухаресте с цветочкамн встречали. А как танки ндут на батарею, ты вндел? Ты знаешь, что Колю моего танком раздавило так, что н хоронить было нечего. А он был такой крепкий, такой снльный...

Тоня плакала, уткнувшнсь в подушку, потом, спохватившись, вновь прижнмалась к Юрню.

— Может, ты из-за него на меня сердце держишь? А? Цыганеночек? Так нету его давно. А ты есть. Да и забыла я его. Хочешь, я и карточку уберу?

— Не надо, — великодушно отказался Юрнй.

В погожий морозный день Юрий был в наряде гарнизонным патрулем н, возвращаясь в комендатуру, шел по набережной вдоль белокаменных стен старинных домов, казавшихся грязно-голубымн в солнечно-снежном слепящем свете. От пронзительной сниевы бездонно-чистого неба сводило скулы, словно от лимонной кислоты.

Не было на этой набережной никакнх граннтных плнт н чугунных решеток. Отлогнй спуск сбегал к нскрящейся свежезаснеженным льдом реке, а за ней, на крутом невысоком холме, тесно столпились строения древнего городского кремля. Солнце четко делило стены старого, построенного еще Иваном Грозным, собора на ярко-сахарные н теннсто-синне лоскутки н сверкало на пяти его маковках, широких и приплюснутых, поднявшихся шапками вспучившегося теста над огромными башнями-барабанамн, прорезаннымн узкими вертнкальнымн щелямн окон. Плыли в небе фнгурные кресты с тающей паутнной лучистых узоров, и выше всех возносился крест узкой колокольни, сверкающей красной чешуей крутых скатов; сверкалн крыши, купола, кресты кремлевских зданий, подставлялн солнцу шнрокне помятые бока старые выщербленные стены. Словно случайно собралнсь на берегу непохожне друг на друга строения, сбилнсь в тесную беспорядочную кучку н замерли, задремалн, разморенные солнышком.

Лейтенанту набережная не нравнлась. Старые белокаменные здания былн для него не памятннками архитектуры семнадцатого века, а гарнизонным госпита-

лем, овощехранилищем, штабом, комендатурой, а кремль на том берегу — скудным краеведческим музеем, куда по воскресеньям водили солдат. Пройдись по улице Горького вот так: в новенькой шинели с блестящими погонами, с начищенными пуговицами, в зеркально сверкающих хромовых сапогах с серебристыми шпорами, сделанными полковым умельцем из шомпола, весело звякающими колечками, выточенными из пятнадцатикопеечной монеты выпуска 1923 года: в них больше серебра, а следовательно, и звона.

Из дверей здания штаба вышел капитан Кульков и не спеша шел навстречу по набережной, зажав во рту длинную папиросу, пуская облачка дыма, мгновенно растворяющиеся в голубом воздухе. Капитан любил всякие трюки и теперь отрабатывал выкуривание папиросы, не вынимая ее изо рта и не касаясь руками.

— Здравия желаю, товарищ капитан. Разрешите представиться: офицерский гарнизонный патруль. За курение на главной городской магистрали имею право доставить вас, куда положено.

— Меня там не примут. Недавно я отмолился пять суток и так надоел коменданту, что он меня досрочно выгнал...

«Молиться» — означало отбывать арест на офицерской гауптвахте: камеры помещались в бывших монастырских кельях.

— Ты давно там не бывал? Когда попадешь, обрати внимание — это я на стене выбил: «Уходящий не радуйся, приходящий не унывай». А тебя что-то не видно нигде. Все с Тонечкой? Долго ты с ней. Другие сразу отваливались.

— Кто другие?

Еще какой-то человек с мешком за плечами шел сюда по набережной, и Юрий вглядывался в него с преувеличенным вниманием, чтобы скрыть от капитана смятение в глазах, чтобы не заметил Кульков, как задрожали губы.

— Да вот, хоть Сашку спроси из батальона связи.

Человек с мешком подошел ближе, и Юрий узнал бывшего князя. В старой шинели, в потрепанной шапке, напоминающей формой папаху, он тащил за плечами набитый чем-то солдатский вещмешок. Его прямое тело, предназначенное для военного строя, так и не

приспособилось к переноске грузов, и он не сутулился, выгибая плечи, а наклонялся всей верхней частью тела, будто надламывался. Подойдя к офицерам, он опустил мешок на снег и поздоровался, приложив руку небрежно, по-генеральски, к старой своей шапке.

— Замечательная погодка, — сказал старик. — Пушкинская. Прошу обратить внимание, как сверкают кресты Софийского собора. Это кресты особой формы: так называемые «процветшие». Такие же кресты, к слову сказать, на церкви Петровского монастыря в Москве. А вы знаете, офицеры, что это за полумесяц под крестом? Убежден, что не знаете. Это поверженный мусульманский символ. Поверженный, потоптанный, побежденный христианским крестом. Такие полумесяцы появились под крестами на церквах после того, как наша армия Российская под водительством Суворова, Румянцева, Потемкина, Кутузова разгромила магометанскую Турцию. Ну-с. Честь имею. Хороший картофель удалось купить на базаре. А курите вы некрасиво, капитан: держите папиросу, как соску. Кстати, она у вас погасла.

Кульков ошеломленно глядел вслед старику.

— Что это за псих?

Лейтенант сказал.

— Прадед, правнук,— ворчал Кульков, со злостью выплюнув папиросу. — У меня тоже был прадед. Первый кулачный боец на всю волость. Мне от него тоже кое-что досталось. До войны боксом занимался. Я и сейчас могу одной левой так врезать, что в госпиталь только на носилках доберешься. Вот ты меня, Юрочка, когда-нибудь выведешь своим трепом про Штрауса, про пра... про... черт возьми прадедов.

— Подожди, Виктор. Ты говорил, Сашка...

— Ну и говорил. Не знаю ничего. Сам разбирайся.

Сначала Юрий решил немедленно найти Тоню, пусть даже придется идти на этот ее льнокомбинат, решил требовать объяснений, может быть, даже бить ее. Потом, к вечеру, появился более обдуманный и коварный план: он выследит ее. Ведь если просто прийти с упреками, то она от всего откажется. Он будет вечерами дежурить у ее дома и поймает Тоню, когда она поведет к себе Сашку или кого-нибудь еще. И тогда... Нет. Тогда ничего не будет. Он просто подойдет к ней,

взглянет презрительно и уйдет навсегда. И пусть она бежит за ним, плачет, просит.

Но уже становился мужчиной Юрий Водилин, уже понимал, что какие бы страдания ни приходилось переносить из-за женщины, все равно нельзя унижаться до упреков, слежки и оскорблений.

После дежурства он не пошел к Тоне и почти всю ночь ворочался без сна на своей узкой жесткой кровати, где вместо перины лежал тощий ватный матрасик, принесенный из полка. Несколько раз порывался он встать и выбежать в синюю снежную ночь, прибежать к Тоне, войти в привычное, пахнущее тепло ее дома, прильнуть к ней, спросить... Разве не она горячо шептала ночами: «Люблю тебя, Юрка! Люблю тебя, цыганеночек! Ничегошеньки мне не надо, кроме тебя. Ни получка твоя офицерская, ни квартира твоя московская. Будь ты хоть солдатом, хоть рабочим, землекопом, учеником каким-нибудь на заводе, если из армии уволят — все равно буду твоя. Куда скажешь — туда пойду за тобой. Работать на тебя буду день и ночь. Никто кроме тебя не нужен мне на всем свете!..»

Не следовало бы принимать всерьез слова Кулькова, но ненужно услужливая память подсказывала какие-то случаи, совершенно, казалось бы, незначительные, но теперь приобретшие особенный страшный смысл. Тогда она танцевала с Сашкой и ушла вместе с ним. А как она улыбнулась тому лейтенанту! А почему с ней здоровались на улице летчики?..

Следующий день лейтенант прожил, как в тумане, и думал только о своей несчастной любви. Пытался успокаивать себя: ведь сам же собирался уехать и забыть. Сначала как будто эти мысли помогали, но к вечеру так заныло сердце, что рассыпались все логические построения и осталось лишь одно желание: видеть ее, быть с ней. Юрий даже обрадовался, когда вечером в полку назначили собрание по вопросу предстоящих зимних боевых стрельб («Боевые стрельбы — праздник для артиллериста») и пришлось надолго задержаться в казармах.

На квартиру лейтенант вернулся поздно и, едва открыв двери, очутился в шумной, вкусно пахнущей праздничной суматохе: отмечался день рождения хозяйки. Уже дозрел бочонок известной браги, из печи

вынимались пироги с «северной свининой» — зубаткой, шкворчало и разливало острый аромат жарившееся мясо, а в центре этих событий весело метался бывший князь в белом поварском колпаке и в коротком халате, надетом поверх темно-синего костюма.

— Не удивляйтесь, поручик, — отрывисто крикнул он, помешивая в кастрюле, из которой поднимался невыразимо ароматный пар. — Не удивляйтесь. Мне приходилось заведывать офицерским собранием в Петербурге, и у меня два раза в неделю обедал великий князь.

А в дверях столовой, где звенела расставляемая посуда, стояла Тоня в светло-сером костюме с орденом Красной Звезды на груди.

— Вот к столу-то и подоспел,— говорила хозяйка.— С морозцу-то хорошо. Чего глядишь-то? Аль не узнаешь?

И потише, чтобы только Юрий слышал, объяснила:

— Это я позвала твою-то. Думаешь, не знаю? Все, братец, знаю. Земля-то слухами полнится. Уж больно девка-то хороша тебе досталась. До войны весь город ее знал: чемпионка. Это нынче народ-то все новый. Которые погибли, которые уехали. Только мы, старухи, и помним. Ну иди, иди к ней-то. Чего стоишь как истукан?

Лицо у Тони было поблекшее, напряженно-неподвижное, словно она вдруг постарела.

— Здравствуй, Юра, — сказала она чужим голосом.

— Вы уж рядом-то и садитесь, — подсказывала хозяйка.

Тоня села справа от лейтенанта, отодвинулась, сжавшись, спрятав руки в колени. Слева сидел пожилой незнакомец с широким лицом, расширяющимся книзу, большими ушами и постоянной довольной улыбкой.

— Трещотки не порубаешь — не поработаешь, — говорил он, накладывая на тарелку большие куски рыбы, залитые густым оранжевым маринадом.

— Учебное мясо. Гидробаранина, — сказал лейтенант. — Нас этой треской военторг замучил.

— Браво, — сказал бывший князь. — Не оскудевает остроумие русского офицерства.

— Уж больно-то ребята хорошие наши, офицер, — сказал сосед. — Я-то, вот, не дослужил, а тоже, знаешь,

парень, в тридцать девятом на Карельском перешейке участвовал...

Случайно ли, нарочно ли, но коснулся лейтенант колена Тони, и мгновенно, невидимо для сидящих за столом, они устремились друг к другу. Прижался он к ее плечу, пальцы рук сплелись под столом, ощутил близкое тепло ее щеки, щекочущее колыханье пряди волос, и сразу расслабилось невыносимо болезненное напряжение последних дней, словно нашел, наконец, лейтенант предназначенное ему место на земле.

— Тоня, — прошептал он.

— Да, да, Юрочка. Да, — ответила она.

Ближе к другому концу стола сидел паренек, остриженный наголо, наверное, недавно демобилизованный. Он хмурил брови, морщил лоб в хмельной серьезности и все порывался к трофейному аккордеону, сиявшему серебром и слоновой костью. Ему не разрешали играть, пока рассаживались, разбирали закуски, кого-то ждали, выпивали за здоровье хозяйки и, в порядке необходимого ритуала — за упокой души давно забытого хозяина.

— Надорвался бедолага, — сказала хозяйка, всхлипнув для приличия. — Силенок-то не хватило.

— Хороший был мужик, — сказал сосед Юрия. — Уж больно хороший был.

— Жадноват был покойничек, — сказал бывший князь. — Представляете, лейтенант, всю жизнь человек мечтал иметь собственный двухэтажный дом, а когда, наконец, эта мечта сбылась, произошла революция, и дом у него, разумеется, отобрали. Он и не выдержал.

— А вы? — спросил Юрий, пьянея не столько от вина, сколько от близости Тони. — Вы-то выдержали? Да?

— Что-то ваш бокал пустует, — сказал старик, будто не замечая вызывающего тона лейтенанта и наливая водку: ему в стакан, себе — в рюмку... — На своем полковом празднике я в один прием выпивал полный полковой рог, до семидесяти трех лет пил, не пьянея, а теперь начинаю сдавать.

— А вы выдержали? — не унимался лейтенант, еще больше распаляясь из-за того, что Тоня пыталась остановить его, дергая за рукав кителя.

— Подождите, лейтенант, мы с вами еще поговорим об этом.

Стриженый парень дорвался, наконец, до аккордеона, и на свободное пространство между столом и дверями выскочила Шура, жена бывшего князя. Улыбнулась сначала смущенно, потом отчаянно, развела округло руки, тряхнула головой и пошла... Куда там тот твист, которого тогда еще не знали. Нигде больше не увидишь такую дробную чечетку, когда ноги сливаются в мелькающее туманное пятно, подобно вертящемуся колесу, а тело при этом плывет по-лебединому медленно и плавно.

Дроля в армию уехал
И гармонь с собой увез!..
У-ух, ты!..

Тоня вышла вслед за ней и поплыла, понеслась, полетела, помахивая платочком.

Аккордеонист монотонным голосом тоже забубнил какой-то совсем уж непонятный текст:

Нас из Вологды прислали,
На дорогу хлеба дали...

— А ну-ка, лезгинку, — сказал старик, поднимаясь.

Лицо его стало сосредоточенно сердитым, глаза заблестели. Аккордеонист ритмично замурлыкал известную нервную мелодию, и старик помчался по кругу, уверенно неся свое сухое стройное тело. Легко было представить его в папахе и черкеске с газырями.

— Асса! — пронзительно покрикивал он в такт, и за столом подхватывали вразброд: «Асса!.. Асса!..»

— Хороший мужик,— сказал сосед Юрию.— Куды с добром. И человек-то большой. В газетке рядом с Рокоссовским снят. Видал у Шурки на комоде?

Исполнив последнее лихое па с приседанием, старик, не скрывая довольной хитроватой улыбки и стараясь не показать усталости, задерживая учащенное дыхание, вернулся на свое место за столом. Он отпил бражки из стакана и взглянул на лейтенанта насмешливо, словно своим танцем уже ответил на все злые вопросы. А Юрий уже и не ждал никаких ответов: рядом была Тоня. Покрасневшая, смущенная, она опустила взгляд и спрашивала тихим тоненьким голоском:

«Почему же ты забыл меня, цыганеночек? Или другую нашел? Чем же я тебе плоха стала?»

Аккордеонист растянул свой сверкающий инструмент, и вечная неизбывно-печальная и отчаянно-удалая песня хлынула широким потоком, размывая, разламывая и унося все мелкое, грязное, каменисто-злое. Юрий не знал, зачем поднялся из-за стола и вышел на крыльцо. Он стоял, прильнув горячим лицом к заледеневшей стене; желтые пятна света падали из окон на искристосиние поверхности сугробов, пронзительно-влажный запах мороза кружил голову, и из растворенной двери вместе с буйными клубами пара рвалась песня:

Но нельзя рябине
К дубу перебраться.
Видно, сиротине
Век одной качаться...

И безнадежно горько было знать, что такая судьба выпадает тонкой рябине, и хмельная радость разрывала грудь, потому что сладка была эта песенная раздольная тоска.

А вверху, в темной гуще неба, далеко-далеко, не над низкими крышами Заречья, а где-то над кладбищем или, может быть, еще дальше: над нетронутыми сугробами темных полей висели голубые огни сияния. Потухали и возникали вновь длинные светящиеся цилиндры, сотканные из множества тонких голубоватобледных полос, похожие на старинные абажуры из звенящих стеклянных висюлек.

Юрий не заметил, как на крыльцо вышел бывший князь и стал рядом, задумчиво глядя вверх на огни сияния.

— Вот так я и выдержал, лейтенант, — сказал он, будто продолжая разговор. — С ними. С этими людьми, которые так поют. Всю жизнь служил я им. И мой отец служил этой России, и мой прадед, о котором вы, конечно, знаете. Конечно, в старой армии были всякие офицеры, но лучшие из нас не командовали народом, не эксплуатировали, как сейчас вы любите говорить, а служили народу. Мы учили простых добрых парней защищать свою землю, водили их в бой и сами шли и умирали вместе с ними. И не царю мы служили, не престолу, а им, которые построили все, что есть на русской земле, и любят работать от души, и водку пьют,

и песни поют, каких ни у одного народа не найдешь. Понимаете, лейтенант? В сорок первом году я подал рапорт о зачислении в действующую армию не для того, чтобы что-то там заслужить, как-то реабилитироваться. Нет. Я просто исполнил свой долг. Старался не посрамить своих предков, не посрамить русскую воинскую славу. Предлагали мне потом и должность, и всякие блага в столице, но не захотел я в последние годы жизни изменить этому городу, этим людям. Они приютили меня когда-то, поверили мне. Когда я получил первый офицерский чин, то не был так горд, как в то время, когда они признали меня своим и дали кусок хлеба, угол и даже любовь. Понимаете, поручик?

Песня разрывала сердце и звала куда-то на неведомую ночную дорогу, освещенную далеким голубым сиянием, и Юрию казалось, что он открыл простой и великий смысл жизни.

— Понимаю! — сказал он. — Понимаю! Я тоже всю жизнь буду служить им! До последней капли крови!

— Хорошо, поручик, — сказал старик. — Ты будешь настоящим офицером, настоящим солдатом, ибо, как сказал наш великий император Петр, солдат есть имя общее, знаменитое, солдатом называется первейший генерал и последний рядовой... А теперь иди к ней. Ты же любишь ее.

Да, он любил Тоню. В темной кухне они нашли друг друга, и снова ощутил Юрий в объятиях нежную податливость ее крепкого тела, ее тепло, ее запах.

— Да, да, Юрочка, — шептала Тоня. — Твоя. Твоя. Только твоя.

Гости уже расходились, и хозяйка сказала, что «куды с добром девку на такой мороз-то гнать?».

Они провели эту ночь на железной лейтенантской койке, и снова Тоня называла его «глупым мальчиком» и вздыхала сочувственно и укоризненно:

— Как же ты мог подумать обо мне такое?

И Юрий верил ей, радостно успокаивался, расслаблялся, соглашался, что он глуп и наивен и не должен думать о Тоне плохо. Им тесно было на узкой кровати, под узким и колючим солдатским одеялом, и оба старались, чтобы другому было удобнее, укрывали и согревали друг дружку. Удивительная радость была в том, чтобы неудобно скорчиться на краешке кровати, рас-

крыться, подставляя спину ползущему по полу холоду, и знать, что Тоне удобно и тепло.

Но и в эту ночь наступали минуты сомнений, и Юрий начинал допытываться, расспрашивать, выяснять.

— Дурачок ты мой. Ну, что ты хочешь узнать? Ну, хотел он меня проводить. Ну и что? Прогнала я его.

— Так и не проводил?

— Нет.

— И ты пошла ночью одна?

— А чего ж? Я ведь фронтовичка. Немцев не боялась.

— Тоня! Это же неправда! Может быть, ты и не пустила его к себе, но до дома-то он тебя проводил. Зачем ты говоришь неправду?

— Какая тебе еще нужна правда, Юрочка? Ты хочешь, чтобы я сказала, что он меня проводил? Ну, хорошо. Да, он проводил меня. Теперь ты доволен? Или еще сказать, что он у меня ночевал? Я скажу все, что ты захочешь, пусть ничего этого и не было.

— Тоня! Я хочу знать правду! Я не обижусь, не буду упрекать тебя, но мне нужна правда, чтобы я мог тебе верить.

— Какой ты еще глупый мальчишка! Иди ко мне. Вот тебе и вся правда!

Он еще мало знал женщин, еще не знал, что мужчине никогда не узнать от женщины всю правду, что женская правда — это любовь, и женщина всегда говорит то, что требуется любимому, и искренне считает это правдой.

— Если бы ты больше не пришел ко мне, я не знаю, что сделала бы с собой!

— Что?

— Не знаю. Видать, ничего бы не сделала. Уехала бы куда-нибудь. В Архангельск или в Котлас. Или бы в леспромхоз завербовалась в самый дальний. И тебя бы забыла, и денег бы заработала. Я на работу крепкая. Я на все крепкая.

Они долго не спали в эту ночь. Юрий несколько раз вставал, набрасывал на плечи шинель, закуривал, подходя к окну.

— Долго не потухает.

— Что?

— Сияние. Голубое сияние.

— Пускай полыхает. Иди ко мне, а то застынешь...

Под утро, когда они, наконец, заснули, раздался громкий стук, шаги, и в дверях комнаты появилась неясная фигура в солдатской шапке.

— Товарищ лейтенант! В полку боевая тревога!

«Проклятая служба», — думал лейтенант, натягивая одежду. Еще он подумал, что пусть посыльный видит, как Тоня пытается прикрыть одеялом голую грудь, пусть солдаты знают, что их взводный — парень не промах.

Полк поднялся по тревоге и получил приказ выехать в район артиллерийского полигона. Машины с прицепленными орудиями промчались по улицам Заречья, взбудоражив разбуженных не ко времени собак. В испуге просыпались старушки, выглядывали из-за занавесок, крестились, вздыхали: «Опять куда-то солдат погнали».

Выехав из города, машины с ревом поползли по заснеженным лесным дорогам.

Где «студебеккер» фронтовой
Обычно ходит сам собой, —

как сказал полковой поэт.

Батарею, как водится, поставили на самой далекой поляне, в сыпучих сугробах невероятной глубины, и лейтенант со злым азартом командовал солдатами, торопясь расставить и окопать орудия и построить веер батареи. Еще минут двадцать оставалось до назначенного срока, когда он доложил по телефону о готовности и получил приказ немедленно явиться на наблюдательный пункт для выполнения боевой стрельбы.

Наблюдательный пункт — окоп в виде погнутой буквы «Т» с длинным извилистым хвостом — ходом сообщения, и согнутой в дугу верхушкой, растянулся на плоской вершине невысокого холма. В полукруглом окопе — верхушке буквы «Т» толпились руководители стрельбы. Самый главный и горластый из них, начальник штаба полка подполковник Метленко, закричал:

— Прохлаждаешься, лейтенант!

Подполковник излишне часто употреблял крепкие выражения, и не столько обидным, сколько нелепым и ненужным казался грубый командирский голос здесь, в этой величавой тишине, открывающейся отсюда пус-

тынной равнины, затопившей снежными мертвыми волнами иссиня-черную щетину кустарника и мелколесья. Мир с наблюдательного пункта виделся классически простым, черно-белым: по бесконечно-белому темные штрихи, местами сливающиеся в сплошные пятна. Радостно и в то же время грустно видеть такое поле. Радостно, что есть еще на земле ни одним следом человеческим не тронутый нежный снег. Грустно, потому что быть в таком поле надо одному или с ней, прекрасной и понимающей, а не с этой кричащей и ревущей оравой людей и машин.

Впрочем, и для артиллерийских дел природа не помеха. Шишкинский широкий пейзаж хорошо смотрится в учебниках артиллерии в виде схемы ориентиров, а торжественная багряная тишина, устанавливающаяся на исходе летнего дня, означает наличие табличных условий (температура плюс двадцать, давление семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба, относительная влажность пятьдесят процентов), при которых боевая стрельба проходит наиболее удачно. Военный человек близок к природе так же, как и крестьянин: она или помогает, или мешает им.

В то зимнее утро стрельба у лейтенанта складывалась удачно. Главное — не потерять первый разрыв снаряда. При стрельбе из семидесятишестимиллиметровой пушки разрыв маленький, быстро исчезающий. Это когда из глубины ведешь огонь, то долго слышишь, как вверху, чуть в стороне, шуршит (шуф-шуф-шуф) снаряд, успеваешь приготовиться и всегда поймаешь в бинокль темный раскидистый куст разрыва. А здесь все происходит мгновенно: крикнул телефонист: «Выстрел!» — хлопнула сзади на батарее пушка, еще слышно свистящее жужжание снаряда, а уже вскинулся и исчез где-то в поле черно-дымный бугорок.

Лейтенант Водилин сумел поймать разрыв на перекрестке бинокля и измерить его отклонение от овального кустика, обозначавшего цель.

— Наблюл?

Этот глагол придумали артиллеристы, как совершенный вид от «наблюдать».

— Наблюл? — недоверчиво и зло спросил подполковник.

Сам он, скорее всего, не «наблюл».

А лейтенант уже командовал: «Правее ноль-пятнадцать».

Стрельба проходила успешно. Получилась редкая накрывающая группа: три плюса и один минус, и Юрий уверенно скомандовал: «Прицел семь один, огонь!»

— Стой! — грубо закричал подполковник. — Телефонист! Не передавать! Почему не переходишь на поражение? Прогоню с энпе к этой самой!..

— Товарищ подполковник, командую согласно правилам стрельбы, — спокойно, с уверенным сознанием превосходства, с некоторым презрением и сожалением к старому незнающему офицеру, сказал Водилин.— Согласно правилам стрельбы следует изменить прицел на половину ширины вилки в сторону меньшего числа знаков, что я и делаю.

— Телефонист, передавайте, — угрюмо сказал подполковник.

— Прицел семь один! Огонь! — крикнул телефонист, и как в сложном оперном квартете, почти одновременно услышалось и увиделось: крик телефониста: «Выстрел!», «Очередь!», два пронзительных щелчка орудийных выстрелов в лесу, жужжание снарядов, бинокль, вскинутый подполковником к глазам, и сразу же опущенный, его удивленное лицо, повернутое к Юрию, и победоносно взлетевшие вместе с черным дымом разрыва ветви куста цели.

— Стой! Записать: цель номер один — пулемет! — командовал лейтенант и не мог сдержать счастливой мальчишеской улыбки.

— Отлично, лейтенант, — сказал подполковник и все-таки выругался («Вот так надо стрелять, а то разболтались, как...»).

Закончив стрельбы, солдаты и офицеры грелись у костров, курили, жгли неизрасходованные мешочки зарядов. Юрий сидел вместе с товарищами на зеленых снарядных ящиках, вдыхая теплый запах дыма, где густая хвойная горечь мешалась со сладким ароматом бездымного пороха. Поэт Володя перебирал струны гитары, читал наизусть знаменитую поэму «Артиллерийская любовь»: «Глазки, носик, лафет идеальный, голос — залп батареи моей, когда шла по аллее центральной, все бинокли смотрели за ней...»

— Звери, дайте кто-нибудь закурить.

— Закури, дорогой, закури, — запел Володя, — ты сегодня до самой зари не приляжешь, уйдешь опять в ночь глухую врага искать...

Ранние сумерки бледно-лиловой пеленой покрывали снежное поле, перегороженное готовой к движению колонной артиллерийского полка. Темные молчаливые машины, задремавшие, но готовые мгновенно проснуться и взреветь; пушки приземистые, легкие, длинноствольные. «Танки не пройдут!» — так называли их на фронте. Или еще, с невеселым военным юмором: «Ствол длинный, а жизнь короткая». На каждом стволе — остро четкие ряды красных звездочек: число подбитых танков. На какой — пяток, на какой — десяток, а на какой — все двадцать.

А у костра все звенела гитара и полковой поэт пел старую фронтовую о том, что «когда вдали за горизонтом, разгорится небывалый бой, потеряю, может быть, пилотку с молодою буйной головой...».

Домой вернулись не поздно, и Юрий успел переодеться в клеши «сорок сантиметров» и прийти к Тоне. Он пригласил ее в ресторан «Север» и потом, вспоминая об этом вечере, думал, что не следовало бы идти в ресторан после бессонных нервных суток, а иногда обреченно догадывался, что не в тот вечер — так в другой, а конец все равно был неминуем.

В ресторане из гардероба наверх вели два марша сумрачной крутой лестницы, застеленной мягким ковром, но музыку — «Полонез» Огинского — было слышно уже внизу.

— Значит, кто-то из наших здесь сидит, — сказал Юрий.

В зал вошли, когда музыка прекратилась и ансамбль отдыхал. Ансамблем называлось три человека: ударник дядя Петя, здешний сторож, после двенадцати уходивший на пост к магазину, аккордеонист — плохо причесанный юноша, и пианист Яшка, которого уважительно называли «маэстро». Это был маленький краснолицый человечек в строгом черном костюме, в накрахмаленной манишке с галстуком-«бабочкой».

За столиком у эстрады одиноко сидел капитан Кульков. Это он слушал Огинского. Перед капитаном стоял графин с водкой и полная ваза яиц. Кульков проколол яйцо вилкой с двух сторон, выпил рюмку водки,

высосал яйцо и закусил кусочком черного хлеба, густо посыпанным солью. Это был излюбленный ужин капитана.

— Яша! Маэстро! — крикнул он пианисту.— Прошу ко мне!

Торжественная пустота послевоенного провинциального ресторана. Полумрак, цветные вазы, сборная солянка в серебряных судочках, скромные ансамбли, пиликающие «Темную ночь» и попурри из оперетт, основные посетители — грубоватые и щедрые фронтовые офицеры...

Юрий выбрал столик в углу у окна, подальше от эстрады, но Кульков заметил и позвал.

— Сядь, — сказал капитан. — Все с ней?

Здесь же сидел пианист. Кульков повернулся к нему:

— Скажи ему, Яша, какой он у нее по счету?

Пианист пожал плечами, и Юрий увидел в его жесте подтверждение слов капитана.

— Выпей, Яша,— говорил капитан, наливая полный стакан. — Выпей и сыграй всего Кальмана.

— Благодарю, капитан, но вы же знаете: я так не пью. А Кальмана я для вас исполню.

Яша сел за инструмент и поставил стакан с водкой на верхнюю крышку. Рядом, на тарелочке — ломтик сыра. Так он играл всегда: чтобы перед ним стоял стакан с водкой. При этом он почти не пил и до полночи стакан так и не опорожнял. Может быть, он и вообще не выпивал эту водку, а отдавал аккордеонисту или дяде Пете, уходившему на дежурство.

— Всего Кальмана! — крикнул Кульков. — А ты можешь пожаловаться на меня замполиту.

Яша ударил по клавишам, начав с удалой цыганской выходной арии Сильвы, переходящей в тревожно мчащийся танцевальный ритм. Эта музыка показалась Юрию издевательским хохотом. Смеялись над ним, над его любовью к женщине, у которой перебывал чуть ли не весь гарнизон. Он почувствовал страстное желание немедленно уйти отсюда и ни за что не возвращаться к столу, где ждала его Тоня, казавшаяся теперь недалекой провинциальной бабой, невежественной, да к тому же еще и порочной. Он не ушел только потому, что считал себя воспитанным человеком — настоящим офицером, обязанным исполнить долг вежливости.

— Что он тебе сказал? — спросила Тоня.

— Сказал, что ты хорошая женщина, — ответил Юрий, с раздражением оглядывая стол, где уже стояло длинное блюдо с осетриной, украшенной огурцами и яркой свеклой.

«Действительно, пошлая рыба», — вспомнил он слова какого-то писателя. Раздражала лейтенанта и музыка — Яша барабанил: «Красотки, красотки, красотки кабаре...»

«Действительно, для наслаждения, — думал Юрий с радостной злобой. — Только для наслаждения она и существует».

— Он тоже дядечка ничего, — сказала Тоня.

— Кто? Капитан Кульков?

— Сразу видать, что настоящий мужик.

— А я, значит, ненастоящий?

— Ты — мой Юрочка. Как я могу тебя сравнить с кем-то?

Тоня еще не понимала состояния лейтенанта, а он едва не задыхался от обиды.

Тем временем Яша вдохновенно откинул маленькую голову и, нещадно нажимая на педали, наполнял зал драматической мелодией из «Принцессы цирка»: «Цветы роняют лепестки на песок, никто не знает, как мой путь одинок...»

— Хорошая музыка, — сказала Тоня. — Только грустная очень. Это из какой оперы?

— Во-первых, не из оперы, а из оперетки...

— Как будто не все равно. Чего ты злишься?

— Что ты понимаешь? Что вы понимаете здесь все в этой дыре? Разве ты можешь представить полукруглый зал московского театра с куполом и зрителей на балконе, притоптывающих в такт оркестру? Разве можешь ты понять, что значит увидеть, как выходит Качалов во фраке и черной маске, а зал уже ломится от аплодисментов и дирижер Фукс-Мартини, подняв палочку, ждет, когда зрители утихнут... А вы не живете, а гниете в этой своей дыре. Нет! Немедленно демобилизуюсь!

— Демобилизуйся и поезжай к своей оперетке, к своим студенточкам, а наш город не трогай! На таких городах вся Россия стоит. И твоя Москва ими живет...

— Значит, уезжать? Значит, не нужен я тебе?

— Господи! Какой ты еще мальчик!

Не понимала Тоня, что нет худшего оскорбления для двадцатилетнего человека, чем напоминание о его юности, понимаемой им, как мужская неполноценность.

— Я мальчик, а капитан — мужчина? И другие?

— Какие это другие?

— Те самые. Будто не понимаешь?

— Знаешь что, Юрочка, — Тоня покрылась румянцем, и лицо ее стало некрасивым. — Ты еще сопляк, чтобы меня судить.

— Я сопляк? Хорошо. Официант, получите. Сдачи не надо.

Когда спускались по лестнице, Юрий подумал, что сейчас бы к месту услышать: «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?» — все же он тогда действительно был еще мальчишкой, но Яша барабанил, а аккордеонист лихо подыгрывал мелодию из «Баядерки»: «Вот и бульвар, знакомый бар, как там тепло, как там светло»...

С подчеркнутой вежливостью подавая Тоне шубу, он отводил в сторону взгляд, предвкушая сладостную месть.

На улице ветер сыпанул в лицо мелким режущим снегом. Юрий остановился и, повернувшись к Тоне, сказал с нарочитой выразительностью:

— Если я сопляк, то ты...

Он грубо оскорбил ее и, не оглядываясь, быстро зашагал прочь...

Был тихий, розово-голубой апрельский вечер, когда лейтенант вел строй солдат из города за реку, в казармы. У него возникли некоторые намерения, и он сказал старшине: «Ведите батарею!», а сам подумал, как бы покороче пройти к общежитию педагогического института.

— Запевай! — скомандовал старшина тем негромким уверенным голосом, который предполагает безусловное повиновение.

Запевала начал веселым баритоном:

Вдали полоска заблистала,
Багрянец вспыхнул огневой.

Солдаты дружно подхватили, привычно растягивая куплет и звонко его обрывая:

И батарея наша стала,
Раскинув веер боевой!

Песня гулким потоком полилась по улице, волнами накатываясь на стены, отражаясь и усиливаясь, выплескиваясь вверх, к небу:

...По цели бьем, по цели бьем,
Не тратя зря снарядов.
По цели бьем! Все цели разобьем!

Лейтенанту надо было спешить, но он стоял и смотрел вслед колонне. Казалось бы, давно должен надоесть этот монотонный солдатский шаг. Сколько раз с водил такие колонны по четыре! Сколько лет марш.. ровал сам, и надоело уже маршировать, а все равно останавливается и смотрит на военный строй. Это стало традицией в России: когда идут солдаты, останавливаться и провожать их взглядами, потому что все здесь солдаты или матери и подруги солдат.

Батарея шла хорошо: фронтовики, старослужащие. У них автоматически получается шаг уверенный, дружный, спокойный, сочетающий молодую лихость с непреклонной мужественной мощью. Розовые чешуйки весеннего заката расплескивались по мостовой под солдатскими сапогами.

За рекой дремали редкие невысокие дома: деревянные, сложенные из аккуратных, словно спички, бревнышек; каменные старинные купеческие, с большими водосточными трубами и черными прямоугольниками окон. А среди них вечными часовыми, расставленными на определенные дистанции, вытягивались к высокому весеннему небу белые башни и тускло поблескивающие маковки церквей.

— Здравствуйте, поручик.

Старик стоял рядом и тоже смотрел на проходящих солдат. Он сильно сдал к весне, и лицо его было жалобно сморщенным, как у ребенка, собирающегося заплакать.

— У каждого человека свое представление о родине, — сказал он. — У кого — березка, у кого — матушка-Волга, у кого — какая-нибудь тихая зеленая улочка с палисадником и петушиным криком, а у меня — вот эти солдаты. Лучшие солдаты в мире. Не какие-нибудь завоеватели-сверхчеловеки, а обыкновенные парни, ко-

торым поработать бы от души, да с девками поиграть. И не любят они войну, но если надо защищать свою землю: то нет их злее и храбрее. Вся моя жизнь с ними. Еще ребенком бегал я на плацу за солдатскими шеренгами и теперь вот, перед могилой...

— Извините, я спешу...

— Да, да. Разумеется, вам надо спешить. У вас так мало времени. Всего лишь целая жизнь впереди. Вы к ней? К Тоне?

Чуть помедлил Юрий, не зная, что ответить. Не рассказывать же старику о том, как часами бродил вокруг Тониного дома, таясь за углами и заборами и стыдясь самого себя, как встретил наконец ее сестру и узнал, что Тоня завербовалась в какой-то леспромхоз и адреса не оставила, и не пишет, и неизвестно, когда приедет. Не рассказывать же о том, как мучался, как пытался разыскивать...

— К Тоне? К какой еще Тоне? Я про нее и думать позабыл. Много их по улице ходит.

— Да, да. Разумеется. Только учтите, лейтенант, что для каждого мужчины на земле есть только одна женщина, так же как есть лишь одна верная дорога. У нас с вами — армия.

— Армия? Разве каждый должен быть офицером?

— Нет. Не каждый достоин.

— Извините, я спешу. До свидания...

Только через много лет, то ли десять, то ли через двадцать, а может быть, и через все тридцать, во время юбилейных торжеств, посвященных великим событиям прошлого, в центре которых находился прадед старого ветерана, вспомнили и о нем самом. Говорили по радио и писали в газетах, что он так же, как и его знаменитый предок, честно и верно служил народу. Юрий Водилин слушал, и читал это, и молча вставал из-за стола, не глядя на жену, уходил из дома, возвращался поздно, молчаливый и печальный, иногда нетрезвый. Жена, та самая студентка в белом платье, знающая и Тютчева, и Блока, теперь уже, конечно, не студентка, презирала и оскорбляла его в такие вечера: «Хотя бы детей постыдился». Юрий отворачивался от нее, закрывал глаза, прикусывал губы, чуть ли не до крови, и молчал.

Ночью долго лежал без сна, так и эдак рассматривая свои жизненные дороги, те, что пройдены, и другие, забытые, оставленные в стороне, и находил среди них одну настоящую, единственную, предназначенную для него, но так им и не избранную. Успокаивал себя разумными доводами: все у тебя хорошо, прекрасная интеллигентная жена, спокойная работа за тихим столом в уважаемом учреждении — не всем же быть военными, но появлялся откуда-то стройный сухощавый старик в шинели и кавалерийской фуражке и говорил: «Для каждого мужчины на земле есть только одна женщина и лишь одна верная дорога. Для нас с вами — армия...»

И тогда Юрий поднимался, подходил к окну, всматривался в зимнее стеклянно-зеленое небо, но никогда не мог увидеть, как где-то далеко, над северным древним городом, светят холодные огни голубого сияния.

Розы старого сада

Дом стоял более тридцати лет, и его хозяин — машинист Павел Озерников каждое утро, если не был в рейсе, открывал дверь террасы, ведущую в сад, и спускался в мир истинный и вечный: к цветам, травам и птицам. Первыми встречали его с детской открытой радостью изящные создания, выхоленные на широких клумбах. В начале лета — оранжевые колокола лилий, пышные пионы, пестро-голубые с милой небрежностью в одежде ирисы, позже — разноцветные георгины, душистый табак и, главное — плотной пахучей нежно-белой и блестяще-лиловой пеленой покрывали цветник флоксы. В день ангела хозяина — 29 июня по-старому («Петр и Павел день убавил») флоксы составляли основную часть букета, с которым Павел Гаврилович направлялся в церковь к святому причастию.

Розы росли в другом месте, в центре сада: там была более подходящая земля. Здесь же за клумбами густились кусты жасмина: и темнолистого с крупными цветами тонкого аромата и медового — с мелкими цветами, желтовато-блестящими, с приторно-сладким запахом. Сирени был всего один куст: «мужицкие цветы» — считал Павел Гаврилович. Сам он вышел из мужиков — сын бывшего крепостного крестьянина, но к деревенской жизни относился неодобрительно.

Цветник нежился в уютном углу сада, жался к белой решетке террасы и к глухому забору с калиткой, куда пускали своих, отодвигая длинный скрежещущий засов и берясь за увесистое кольцо (жив ли еще кто-нибудь на земле, в чьем сердце отзовется звонкий стук этого кольца?). Сразу начинался и собственно сад —

яблони, груши, вишни, сливы, то в бумажно-белых клочках цветов, то в разноцветном богатстве плодов, то в желтой осенней усталости. Сорта яблонь с помощью приложений к журналу «Нива» были подобраны так, чтобы с середины лета до снега поочередно созревали плоды. Начинала «Московская грушевка», и приезжавшие на лето из Москвы, Ленинграда, Минска и других городов внуки успевали полностью использовать желтые с полосато-розовым бочком сочные кисло-сладкие яблоки. Доставалась им и вся «коричная полосатая» (они называли ее «коричневая») с ее чудесным ароматом, какого не знает ни один заморский плод. До сентября удавалось ребятам попробовать и румяный «апорт», и огромные, с детский мячик, «титовки», и «райские яблочки», и густо закрашенную киноварью «малиновку». Внуки-дошкольники доживали и до «антоновки» и помогали снимать ее зажелтевшие увесистые плоды, стоя внизу, задрав голову и попискивая: «Дедушка! Вон то!..» До снега и до первых морозов держался на дереве «скрижапель», твердый, кисло-сладкий, продолговато-округлый, с четкими красными полосками.

Жаркими июльскими утрами, когда, спускаясь по ступеням террасы, не в сад входишь, а в растворенное в цветах и траве солнце окунаешься, Павел Гаврилович брал внуков и обходил сад с широким ведром, предназначенным для сбора нападавших за ночь яблок. Бывало, что ведро оказывалось мало, и как внуки ни старались хрумкать «грушевку» и «коричневую», а еще и полные подолы приносили.

С внуками, один ли, а каждое летнее утро стоял Озерников в дверях террасы и смотрел на свой сад. Он не испытывал, конечно, дачного умиления красотами природы и не ради хозяйских забот оглядывал клумбы, деревья, сеяные травы, с головой скрывающие внуков метелками тимофеевки и овсяницы. Он показывал то, что создано было им на земле, и требовал одобрения. Один стоял на ступенях террасы и показывал.

Не соседям показывал, нет. Он их в сад не пускал: «Хамье! Лодыри! Босяки!» Все они построились здесь позже. Павел Озерников первым начал осваивать здешнее болото. Он порядочно заработал во время русско-японской войны: машинистам, водившим эшелоны на восток, хорошо платили, и вскоре задешево купил двой-

ной участок болотистого Брянского леса в нескольких верстах от станции Брянск. Вырубил лес, осушил болото, построил дом, вырастил сад. На это ушло тридцать с лишним лет. Вокруг стали строиться другие, но работали кое-как. Не дома, а избы ставили. Не сады, а так — огородики: у кого — малина, у кого — десяток яблонь, а у кого — и вообще одна картошка. Зато ни одного самого малого праздника не пропустят, чтобы не напиться до изумления. С такими нечего водиться. Но, к слову: в голодный год соседка осмелилась постучать в ворота и попросить муки. Хозяйка — Елизавета Григорьевна отказала: «Что ж я? Последнюю отдам — детей голодными оставлю?» «Ты что, поганка? — взъярился Павел Гаврилович. — Христианкой зовешься! В церковь ходишь! Где твоя мука?» Взял мешочек с мукой, отсыпал ровно половину и заставил отнести соседке.

Бывали у Озерниковых гости: старые железнодорожники, священник отец Владимир, профессора из Москвы, у которых учился старший сын Николай. Они осматривали сад, искренне удивлялись и восхищались. Бывало, что самого себя Павел Гаврилович удивлял: «Гляди, Пашка, мужик деревенский, что ты сотворил!» Но чаще всего Озерников показывал сад кому-то невидимому. Не богу — нет: бог и сам все видит. Кому-то злому, въедливому, но очень умному, всю жизнь преследовавшему Павла Гавриловича своими издевательствами, сеящими сомнение вопросиками и задачками. Иногда это существо олицетворялось в ком-то: в деповском рабочем Ваньке Мелькунове, забулдыге и пьянице («На кого ломишь, Гаврилыч? Все одно помирать!»), в этом же Мелькунове, ставшем на короткое время властью («Отфискую, как излишки!»), в старшей дочери Анне («Вы, папа, этим садом все наше детство загубили. Кроме лопат ничего мы и не видели»), в сыне Александре («Вы, папа,— мещанин, пережиток!»), в немке-управляющей, не пускавшей его в помещичий сад («Не место тебе здесь, хамское отродье!»). И этой немке показывал свой сад Озерников: «Смотри, фрау швайн, как живет сын русского мужика!» И сыну Сашке показывал и зло спорил с ним: «Я тебе покажу, поганец, мещанина! Начитался своего босяка Горького! Мещанин — это человек, имеющий место в жизни. Он дом строит, семью

бережет, детей растит. Мало тебе этого? Ты хочешь в босяках по свету шляться?»

Чаще же Озерников говорил с безликим противником. Уже и на пенсию вышел, к смерти спокойно готовился, думал, что скоро уйдет к богу, а все созданное останется детям, внукам и те помянут его добрым словом, но сатана подмигивал, хихикал, дразнил и приговаривал: «Погодим, а там поглядим!» И самым страшным было то, что Павел Гаврилович ему верил: как бы честно и правильно ни жил человек, а лишь в последний час узнается, насколько правильно и честно он жил.

Теперь же, когда последний час грозно приблизился — наверное, и до вечера не дожить, сомнения начали побеждать. Верно ли он прожил жизнь? Нужно ли богу и людям то, на что он положил свои силы? Слаб человек, и когда смерть в глазах, то ни о чем земном уже не думается ему. Даже в сад не хотел выходить в это утро Павел Гаврилович, а там цвел июль и уже распускались флоксы, и вдоль дорожек пылали оранжевые огоньки настурций, и «Московская грушевка» поспела, и внуки с головой скрылись бы в траве. Июль цвел, но это был июль 1942 года, и сад пусто чернел в глазах Озерникова.

Хозяйка возилась в кухне. Гудела растопленная русская печь, скрежетали ухваты и чугуны: хоть и на двоих, а надо и борща, и картошки, и мяса, и чаю, и самое главное, надо соблюдать порядок. Пусть война, пусть почти все дети и внуки погибли, а Елизавета Григорьевна должна к десяти утра поставить на стол картофельное пюре с салом — традиционный завтрак в семье Озерниковых. Сейчас сюда бы не две, а много тарелок, и ждать, когда старший внук прибежит из сада и взволнованно-восторженно закричит с порога: «Бабушка! Бабушка! Там еще две розы расцвели!..» Младшие будут пищать и ссориться за лучшее место у окошка, собака во дворе зазвенит цепью и осуждающе полает: не любил Бен беспорядка и шума. Его застрелил немецкий солдат в прошлом году 17 сентября, когда танки Гудериана заняли Брянск. А внуки... Нет внуков. Слышно было, что и последний погиб под бомбежкой.

Павел Гаврилович сел на свое место, достал старые карманные часы на цепочке—«Павел Буре», щелкнул крышкой.

— Сейчас, батюшка, подаю, — засуетилась старуха.

Часами он щелкнул по привычке, и покорное повиновение, к которому более сорока лет приучал жену, сегодня не только не доставило удовлетворения, но даже вызывало смущение.

— Брось ты, мать, эту свою картошку! Не надрывайся.

— Да как же, батюшка? Время-то уж и пора. Я вот намяла с молочком и шкварочек положила. Сметанки дам тебе... Как же, батюшка...

Озерников давно, чуть ли не с детства, знал, что жена у него будет красивая, здоровая и послушная. Он все знал про свою жизнь с самой ранней молодости, когда от пьяного и голодного мужицкого существования бежал в паровозные машинисты. Правда, знать-то знал, но жил сначала в грехе и пьянстве. Золотые монеты, которыми тогда платили машинистам, относил в кабак и к бесстыдным девкам.

— Григорьевна, хочу я тебя спросить: видела ли ты за всю жизнь, чтобы я хоть один раз напился вина?

— Что это ты, отец? Все знают, что ты не пьешь ее, проклятую. Все жизнь я не нарадуюсь, что послал мне бог такого супруга благочестивого.

— А слышала ты, чтобы я хоть раз слово сказал матерное? А изменил ли я тебе хоть один раз за всю жизнь? Нет. Никогда. Расскажу я тебе, как помог мне бог и святой апостол Павел прожить так свою жизнь.

— Ой, что это ты, батюшка, вроде как перед смертью? Ешь вот сметанку, бери.

— Может, и перед смертью.

Всю жизнь приучал Павел Гаврилович жену, чтобы знала свое место, разговорами не баловал и даже о том, что ему сегодня, наверное, придется умереть, старуха еще не знала, и он до сих пор не решил, стоит ли ей говорить об этом.

— Все может быть. Война. Вот и слушай на всякий случай. Дело давнее, но надо, чтобы ты хоть об этом знала.

И Павел Гаврилович рассказал жене, как накануне нового 1901 года, то есть накануне нового века, пошел в церковь и перед иконой апостола Павла дал клятву начать с первого дня нового века новую чистую безгрешную жизнь. Конечно, он не клялся (сказано: «Не

божись именем Христовым»), а творил молитву: «Помоги мне, святой апостол, избавиться от грехов моих, от скверны моей, укрепи меня в вере, дай мне силы отказаться от блуда, от дьявольского пития, от сквернословия; дай мне силы до конца дней своих честно служить богу и людям».

— И сразу же, чуть ли не на другой день, назначили меня на участок Сухиничи — Брянск, и стал я водить поезда мимо станции Зикеево.

— Не вспоминай, батюшка. Не надо. Не трави душеньку.

Медленные были поезда в начале века. Пассажирские вагоны с рядами грибков-вентиляторов на покатых крышах подолгу стояли у широких перронов станций, отмеченных в расписании пузатой рюмочкой. Неторопливые пассажиры первого класса — мужчины в котелках, женщины в сложных широкополых шляпах с перьями шли в буфет, где на огромном столе ожидали их графинчики, бокалы, балычок, икра, цыплята, растегаи... Дежурный звонил в станционный колокол, пассажиры занимали места, машинист Павел Озерников дергал ручку гудка, и паровоз весело кричал. В Зикеево с жезлом и флажками к паровозу выходил начальник станции, усатый украинец Лысенко, а иногда — его дочь, статная, черноглазая красавица Лиза.

— Не трави душеньку, отец, — просила Елизавета Григорьевна. — Молочка вот выпей.

Время и старания Павла Гавриловича превратили барышню Лизу в мать восьмерых детей, из которых если и осталось живых, то лишь двое, в работящую покорную старуху. В этом доме, на этой самой кухне особенно трудились время и машинист Озерников. Возвращаясь из рейса, он не шел сразу домой, а посылал впереди себя помощника. Тот стучал в окошко и тревожно сообщал: «Павел Гаврилович сейчас будут». И в доме начиналась паническая суета. За много лет научилась Елизавета Григорьевна успевать подготовиться к встрече и все же каждый раз чем-нибудь не угождала хозяину. К моменту, когда Павел Гаврилович в форменной замасленной тужурке с железнодорожным сундучком в руках подойдет к дому, вся и все должно быть на своих местах. В столовой за столом — вымытые, чисто одетые дети, с голодным нетерпением звя-

кающие приборами. В прихожей — между дверью во двор и кухней, на лавке — чугун с горячей водой, таз, мыло, мочалка, пемза. Елизавета Григорьевна в страхе и волнении стоит здесь с белоснежным полотенцем на вытянутых руках. Достаточно ли горячая вода, чисто ли полотенце, хорошо ли убрано в доме — все может вызвать гнев хозяина. Молчаливый и хмурый, умывается и переодевается он не торопясь, а дети все глотают слюнки перед пустыми тарелками. Первым начал бунтовать Сашка. Лет семь ему было, когда застучал он ложкой по тарелке вызывающе громко, чтобы слышал отец, и заорал: «Мама! Давайте есть, а то суп остынет!» Павел Гаврилович вошел в столовую, расчесывая усы, сел на свое место во главе стола (сзади — часы с боем и картина: «Отъезд русских добровольцев на войну 1877—78 гг.»). Начал с того, что взял большую расписную деревянную ложку, обмакнул ее в горячий бульон и с чувствительным звуком щелкнул по лбу сына Александра. Тот дернулся, всхлипнул, но не заплакал, а набычился. Сидевший напротив братец Вася злорадно ухмыльнулся, и Саша яростно изо всей силы ударил его под столом ногой. Теперь тот проявлял волю и сдерживал слезы. Павел Гаврилович поднялся, за ним — все, и начал читать застольную молитву, хмуро глядя на икону Богородицы в красном углу над фикусами, Елизавета Григорьевна все еще томилась в ожидании грозы: нальет она хозяину борщ, а Павел Гаврилович ковырнет в тарелке и вдруг швырнет ложку так, что брызги полетят, вскочит, грохоча стулом, и закричит в ярости: «Ты из чего варила? Из тряпок? Ты чем меня кормишь?» И уйдет, грозный и хмурый, в свой кабинет. Не раз бывало такое.

Гуманность Озерникова проявлялась в том, что детей по лбу он бил не железной ложкой, а деревянной, на жену кричал хоть и зло, но нецензурных слов не употреблял, во время еды детей не бранил и все разбирательства откладывал на «после обеда». Едва лишь старшая дочь, потупив черные очи (в маму удалась), скользнет из-за стола, как Павел Гаврилович останавливает ее грозным окриком. Аня вздрагивает в страхе, бледнеет и во всем сознается: «Да, папа. Читала ночью до трех часов». «Что читала? Правду говори, сукина дочь!» Девочка не осмеливается лгать: за ложь нака-

зание во сто крат страшнее, но и правдивое признание вызывает ярость отца: «Арцыбашева читаешь, поганка? Развратница бесстыжая! Целая библиотека хороших книг: Толстой, Чарская, Загоскин, а ты эту грязь в дом несешь!»

Обычным наказанием была работа в саду. За чтение недозволенного Арцыбашева гимназистка Аня дотемна таскала с отцом носилки с навозом. Ей и старшему сыну Николаю больше всех пришлось поработать на болоте, превращая его в сад, и не могла она простить это отцу и не любила ездить сюда на лето и при случае упрекала: «Вы, папа, все детство нам загубили этим садом». Не могла, наверное, простить и того, что Павел Гаврилович заставил ее стать врачом и сам водил в анатомический театр и заставлял смотреть на трупы, а девушка плакала и давилась тошнотой. Конечно, потом она благодарна была отцу, когда работала хирургом и за несколько лет до войны случилось несчастье с мужем. Анна сама содержала семью и так в письмах и писала: «Спасибо вам, папа, что выучили меня...» Но что военврач Анна Озерникова думала прошлым летом, когда умирала под немецкими танками?

— Вот и думаю я, Лиза, — с трудом заставлял себя Павел Гаврилович впервые в жизни говорить с женой искренне и задушевно, и казалось ему, что слова идут не с языка, а откуда-то из груди, больно оцарапывая сердце. — Вот и думаю я теперь, Лиза: не напрасно ли было все это? И клятва моя, и труд мой, и воздержание мое...

— Это что ж ты, старый, пожалел? — вскинулась неожиданно жена. — Каешься, что к любовницам не ходил? Что прости господи себе не завел?

— Ты что, баба?

— Пожалел, что упустил? Иди догоняй. Вон твоя эта, Самохина, давно тебя зовет яблоньку привить. Иди — привей ей яблоньку! А я гляжу, думаю, чего это он тоскует? А он вон что...

— Замолчи! Дура! Баба!

Павел Гаврилович пришел в состояние привычной ярости, завертелся, засуетился, нашел дубовую палку, которую завел для воспитания младших сыновей, и загремел по полу, тревожа посуду на кухонных полках.

— Вот у тебя только и разговору, что палкой своей

стучать. Много ты ей хорошего настучал?

Озерников выскочил из кухни в столовую, недоумевая и злобствуя, раскаиваясь и стыдясь, что открывал душу перед бабой, которая кроме своих бабьих дел ничего в толк не может взять.

Елизавета Григорьевна пришла следом. Здесь, в столовой, все было как и тридцать лет назад: китайские розы, фикусы под иконой Богородицы, подвесная керосиновая лампа над столом в абажуре с висюльками бахромы, раздерганной, растрепанной двумя поколениями детей, часы с боем со штрихами римских цифр, картина с солдатами, садящимися в поезд, к которому прицеплен древний паровоз с огромной трубой, расширяющейся кверху. Единственной новинкой, появившейся лет 10 назад, было разбитое стекло в горке с посудой, зияющее черным провалом с рваными краями.

— Вспомни-ка, старый, кто тебе стекло разбил, — не унималась хозяйка. — А то не пил он, не гулял! Может, лучше бы и выпил когда, чем детей в злобе калечить.

Она говорила о его дубовой палке, можно сказать, дубине, кривоватой, неочищенной от темной, коричнево-красной коры. Дубина эта появилась, когда сын Александр достоверно узнал в школе, что бога нет, и с вызывающим злорадством сообщил об этом отцу. Павел Гаврилович не закричал в ответ, не ударил сына, не разбил тарелку, только почувствовал черную горькую пустоту под сердцем, и, наверное, впервые в жизни возникло у него страшное сомнение: не напрасно ли все, что он делает? Не ошибается ли он, отдавая жизнь за дом, сад и семью? Ударил его сын в сердце не богохульством — Павел Гаврилович имел широкие взгляды, много читал и допускал возможность правоты отрицающих религию, но было страшно узнать, как ненавидит его сын, с какой злой радостью хочет обидеть отца. Павел Гаврилович ушел в сад, на участок у дальнего забора, где за канавой он оставил нетронутую полосу леса, и вырезал эту палку. Вернувшись, сказал сыну: «Есть для тебя бог или нет — это дело твое, но если ты жить будешь не по закону божескому и человеческому, то вот этой палкой изувечу поганца!»

Впервые дубину пришлось использовать, когда следующий сын Василий тоже узнал, что бога нет, но, на-

верное, представлял это положение как-то по-другому, потому что вспыхнула у него страшная вражда к брату Сашке. Они учились в соседиих классах и возглавляли шайки самых отчаянных ребят. Саша со своей шайкой избил Василия, а тот в одии прекрасный осеиний день со своими ребятами подстерег Сашку после уроков иа мосту через Десну и сбросил брата в воду с пятиметровой высоты. Вечером отец избил обоих дубовой палкой, потом обоих лечил от побоев и от простуды.

Стекло же в горке было разбито, когда Алексаидр однажды приехал к родителям после иескольких лет работы иа разиых стройках — иа Турксибе, в Магнитогорске, еще где-то, побывав у власти — куда-то его выбирали и кем-то иазначали, трижды жеиившись и трижды разведясь. В доме Озерииковых среди вечных фикусов, чайиых роз и фуксий, под часами с боем и картииой со старииным паровозом, сидел седобородый Павел Гаврилович и перечитывал комплект журиала «Родииа» за 1901 год. У ног его на ковре играл с кубиками внук. Александр Павлович стоял в дверях героем тридцатых годов: красивый, светлоглазый, сверкающий белосиежио-золотой улыбкой, в кепке с заломленым козырьком, из-под которой густым завитком трепался русый зачес. Не о ием ли самый модный романс того времени: «Сашка сорванец, голубоглазый удалец...»?

— Опять развелся, погаиец? — спросил Павел Гаврилович.

— А что здесь такого? — нагло улыбался Алексаидр. — Вы, папа, не поимаете современности. Вы — мещаиин старого покроя.

— Погаиец! Босяк! — взревел Озерииков.

Ои в безумиой ярости кииулся на сыиа со своей дубииой и бил его безжалостно, стараясь угодить в нагло улыбающееся лицо. Алексаидр защищался руками, но отец достал его по голове и сучком раскровеиил лоб. Внук, молча иаблюдавший эту сцену, вдруг закричал:

— Не бей дядю! Ты! Старый!..

И изо всей силы бросил кубиком в деда. Тот успел пригнуться, и кубик врезался в стекло горки с посудой. Павел Гаврилович бросил палку и молча ушел в кабииет. В память об этом случае, чтобы в будущем не давать волю ярости, он так и оставил в стекле зияющую дыру.

— Ты же сына едва не убил! — вспоминала Елизавета Григорьевна.

— Я-то его не убил...

И снова воцарилась в доме забытая на минуту вечная беда.

— Ой и где ж ваши косточки лежат, сыночки мои миленькие, — запричитала старуха.

И у Павла Гавриловича сердце налилось горечью и злобой. Застучал он дубиной по полу и закричал, превозмогая слезы:

— Не плачь, Лиза! Гордись нашими детьми. Честно пали в бою за русскую землю Озерниковы! Не отступили перед врагом. Погибли дети, а не пустили немца к отцу, в сад. Другие пустили.

Окно столовой выходит во двор, и темная гладкая домашняя зелень фикусов и чайных роз переходит в шелковистую перистую листву белых акаций, увешанных сочными гроздьями соцветий. Если отворить окно, то ударит в голову томительно-сладкий аромат, но хозяин этим летом не любит пускать в дом тишину земли, опустошенной войной. Ни петушиного крика теперь не услышишь, ни галочьего гомона, ни собачьего лая. Только отзвуки дальних выстрелов и тошнотворное стрекотание немецких моторов. Приходилось, как о чем-то прекрасном, вспоминать о непрестанном шуме, стоявшем здесь в летние довоенные дни. Такая судьба выпала Павлу Озерникову и его поколению: вспоминать о прекрасном прошлом. До войны вспоминали о том, как было в «мирное время», теперь вспоминают о том, как хорошо было «до войны». Например, в такой же июльский день года три назад, когда собрались у отца два брата — Александр, заехавший по дороге из командировки, и отпускник краснофлотец Василий. С утра двор дребезжал от визга, хохота и звона — устроили купание из брандспойта. Собака, любившая пристойность и порядок, лаяла до хрипоты. Потом, перед обедом, братья невинно заявили, что пойдут в сад «кисленького яблочка поискать», а у них там в кусте смородины уже была припрятана бутылка. Из сада вернулись красные, громко разговаривающие, размахивающие руками, и Бен, учуяв запах алкоголя, зашелся в истерическом лае... Едва не пришлось Павлу Гавриловичу пускать в ход дубину против инженера и военного моряка.

К вечеру братья проспались, опохмелились маминой настоечкой и чинно сидели на ступенях террасы, дружно распевая массовые песни.

— Кончайте ваши босяцкие частушки, — сказал Павел Гаврилович. — Давайте настоящую песню споем.

И смело и сильно, как в молодости, только чуть потише и пониже повел свою любимую: «Выхожу один я на дорогу...» Он пел редко и знал, что соседи в такие моменты бросают свои дела и слушают. Из дома на террасу вышли все на его голос: и внуки, и дочери, и приезжие гости, и хозяйка. Сидели на ступенях, тесно касаясь друг друга, и подпевали негромко и слаженно, сплоченные высокой печалью поэта. По-вечернему щедро пахли флоксы и душистые табаки. В саду под деревьями возникали черные провалы, источающие густую прохладу. Листва и ветви, кусты и трава мешались в сплошную темно-голубую таинственно затихающую чащу.

Потом Павел Гаврилович распорядился выставить чайный стол в цветник, сюда подали самовар и долго пили чай с малиной, крыжовником и свежим вишневым вареньем. Черный сад плотно окружил стол пахучей влажной прохладой, из которой появлялись на свет керосиновой лампы стремительные сверкающие мотыльки. Только вверху можно было разглядеть волнистые контуры деревьев на черно-фиолетовой небесной тверди. Когда замолкал неторопливый разговор о Гитлере и о ценах на сено, слышалось, как падает яблоко, шелестя листвой, ударяясь о сучья и звонко шлепаясь на мягкую траву. На станции «Брянск первый» духовой оркестр играл старинные вальсы и новые танго, доносившиеся сюда ритмичными взлетами труб и уханьем барабана.

Из тех, кто сидел тогда за столом, почти никого не осталось в живых. Старший сын Николай, самый умный и самый любимый, работал в Москве авиационным конструктором и умер незадолго до войны. Остальные три сына погибли в сорок первом. В живых остались, да и то предположительно, лишь две младшие дочери, одинокие бездетные женщины. А война все шла на восток, и многим еще суждено было погибнуть, и наверное, скоро никого из Озерниковых не должно остаться на земле.

В ворота постучали, ио не прикладами, как ожндал Озерииков, а обыкновенной человеческой рукой, тнхо и вежливо. Оказалось: пришел староста Лнсаиов. Раньше этого человека не пускали бы и во двор: босяк, а теперь прнглашали в дом — в столовую и кабннет. На этот раз Павел Гаврилович приглаcнл старосту даже в гостиную — в «залу», как иазывалн ее внукн.

— Заходн, Петрович. Ты же у нас ныиче высокая власть. Надо тебя в красный угол сажать.

В гостиной на полу лежали ковры. На столах альбомы с семейнымн фотографиямн н цветными открыткамн. На стенах, в главном углу — иконы; в зелеии фикусов н олеандров — лнтографни: «Хрнстос и грешннца», «Тайная вечеря». Напротив окон — увелнчениые фотопортреты молодого усатого машнннста с решнтельным взглядом н темноглазой, с надмеино поджатыми губами дочери начальника станцин Знкеево.

— Водочкн, закусочки подать вам, батюшка? — засуетилась хозяйка.

Староста от угощення отказался. Ои сел в кресло и вннмательно рассмотрел резные его подлокотннки. С такнм же нескрываемым любопытством оглядел всю комнату и сразу же отвернулся от вещей, как от иенужных пустяков.

— Шел по-над забором твонм, — сказал староста. — Крепкнй. Стоять бы н стоять...

Лнсанов постронлся здесь сразу после Озерникова, еще до войны выполнял разные общественные обязаиностн — быка держал, дележку лугов в сенокос проводил, но так до снх пор н остался босяком: жнл не в доме, а в нзбе, крытой черепнцей, ходнл в простом ватннке. Он был одннм нз тех, кого презирал Павел Гаврнловнч за мужицкое невежество, за копеечную жадность, за леность мыслн и дела. К тому же Лнсаиов был одннм нз тех, кто всю жизнь спорнл с Озерниковым, доказывая бессмысленность того каторжного труда, на который обрек себя и семью Павел Гаврилович. И сейчас о заборе заговорнл с намеком: стронл, мол, стронл, а кому? А от кого, мол, убережет тебя теперь этот забор?

— И постонт, — сказал Павел Гаврнловнч, начнная загораться злобой. — Постоит!

Староста был ненавистен Озерннкову еще и за то,

что приходилось помощь от него принимать: он сумел уберечь дом Озерниковых от постоя немцев, забронировав его для какого-то отдаленного генерала. И теперь, видно, пришел с добром, но никак не мог примириться Павел Гаврилович, что этот плутоватый мужик сидит теперь в гостиной, нисколько не робея, нагло вдавив грязные сапоги в узорный ворс туркменского ковра.

— Может, и постоит. Было б для кого.

— Для бога! — едва ли уже не закричал Павел Гаврилович и застучал своей дубиной по мягкому ковру.— У тебя вот нету бога, Лисанов, вот и прожил ты неизвестно зачем. Разве что водку по праздникам, да и не по праздникам, хлебать. А ты, баба, не лезь, когда люди беседуют!

Это он цыкнул на заглянувшую в гостиную хозяйку.

— То-то, что для бога. Надрывался сам и детей надрывал, вышло — для бога.

Приступ дикой ярости накатывал на Озерникова: воочию увидел он, наконец, того сатану, что всю жизнь дразнил его и заставлял сомневаться в делах своих. И теперь издевался, как над малым дитем: не слушал обидных слов, ухмылялся снисходительно в грязную бороду.

— Вы, босяки, в дерьме утонете, чем лопату лишний раз в руки взять! Вы...

— Не шуми, Гаврилыч. Я ж с добром к тебе. Ночью-то, знаешь?

Павел Гаврилович замолчал и остыл: староста и вправду пришел с добром:

— Слыхал, что ночью взяли многих? — спросил он.

— Знаю. Предал какой-то босяк. У Советской власти штаны не мог заработать, а у немцев хочет пиджак заслужить.

— Пошел бы ты сам, Гаврилыч, в комендатуру. Расскажешь сам, что знаешь — голову сбережешь.

— Что я знаю? О чем это ты, Лисанов?

— Я в эти дела не вникаю. Я людям по-своему служу. А ты, видать, участвуешь. Вот я тебе и советую.

— Ты же раньше христианином считался, Лисанов. Посмотри сюда. — Он показал на «Тайную вечерю» на стене. — Посмотри на Иуду и скажи: похож я на него?

Снова у старосты на лице появилось обидное вы-

ражение снисходительного презрения: я, мол, о деле, а ты о глупостях.

— Ты ж сам, Гаврилыч, говорил, что это не Советская, а босяцкая власть. Что ж ты теперь за них на смерть идешь?

— Это когда Ваньку Мелькунова в райсовет выбрали? Так его же сразу и прогнали.

— Гляди, Гаврилыч! А то ломил всю жизнь, а на кого? Сам бы хоть пожил. А власть — какая она ни была, а нету ее. До Волги Гитлер дошел. Какая уж власть...

Староста ушел, оставив Павла Гавриловича в недоумении: почему люди не хотят следовать самым главным и простым правилам жизни, внушаемым каждому еще с детства? Причем, и по божеским и по советским законам эти правила одинаковы: исполняй свой долг на земле, служи своему народу, не продавай своих...

Часы в столовой затрещали, заскрипели, зашипели — привычные за много лет звуки, и пробили двенадцать раз. Увесистые, спокойные удары, всегда одинаковые, неторопливые, равнодушные к человеческой суете внизу. «Вы можете там волноваться, кричать, умирать, — говорили часы, — а мы будем делать свое верное вечное дело. Даже когда вы совсем исчезните, мы так же будем отмеривать время, которое не исчезнет никогда». Вечность времени подтверждалась висящей рядом картиной, на которой все так же прощались с бабами солдаты и садились в маленькие вагончики, к которым был прицеплен паровоз с огромной трубой. И тех солдат и тех баб давно уже нету на земле, и если бы спросили их тогда, зачем они делают все это: прощаются, уезжают, воюют, вряд ли ответили бы они что-нибудь вразумительное...

Бой часов не мог успокоить человека, ожидающего смерти, не мог объяснить, для чего была прожита жизнь, однако вечные эти звуки намекнули, что есть смысл в бытии, только понимание его недоступно людям. Прислушайтесь и поверьте. Выйди еще раз в сад и посмотри на дело своих рук.

— Пойду кое-где подпорки под яблоньки поставлю. Слышишь, мать?

Сначала Озерников обошел двор. От ворот к сараю — аллейка: с одной стороны белые акации, корич-

невый лак стволов, перышки листвы, снежные хлопья цветов; с другой — аккуратные липки с круглыми шапками крон. Прочно — не свалишь, лег длинный сарай, отделяющий двор от сада, отделяющий лучший дом в поселке от деревенского прошлого, униженно и тоскливо выглядывающего старыми пепельно-сизыми бревнами стен сарая, проложенными затвердевшей и потемневшей паклей, выкрашивающейся лохматыми кусками. Под серебрящейся — черной чешуей черепичной крыши: и хлев, и свинарники, и дровяник, и мастерская, и погреб, и сеновая. Дрова — в средней части с земляным полом. К ближней стенке приткнут штабелек поленьев, светящихся свежими волнистыми расколами. В темной стороне — глухой, во много рядов штабель распиленных чурок, пахнущий грибами и смолой. Павел Гаврилович хлопнул ладонью по холодному паутинистому торцу дерева. Оно не отозвалось.

Зашел Озерников в мастерскую. Сладко и душно пахло здесь старой стружкой. В тисках ждала рук какая-то железка. Должно быть, дверная петля, которую собирался поправить хозяин. Павел Гаврилович взял было ножовку, но сразу же бросил, вышел из мастерской и закрыл дверь на большой висячий замок. Не останавливаясь, прошел мимо дверей погреба. Там внизу, в бочках, есть еще и моченые яблоки, и соленые огурцы, и помидоры. Все создал для жизни своей и детей и внуков своих машинист Озерников.

Он отворил тяжелую серую калитку, и снова встретил его сад тем же непрестанным равнодушно-счастливым солнечно-зеленым колыханием. «Ты куда-то уходил от меня, — сказал сад, — а я все так же щебечу, жужжу, волнуюсь под ветерком. Я люблю тебя, хозяин, и всегда встречаю с радостью, но когда ты уходишь, я продолжаю жить, и когда ты совсем уйдешь, я останусь таким же».

В саду не было специальных дорожек, а просто протаптывались в траве осторожные тропинки по линиям, обозначенным кустами смородины. В другие времена дети, внуки и гости вытаптывали зелень до земли, а теперь лишь едва заметный следок хозяина таится в некошеной траве. Солнечный поток рассекается золотистыми стебельками овсяницы, рассеивается метелками (некому срывать их, играя в «курочку или петуш-

ка»), так и не добравшись до прохладной земли, где гниют коричневыми круглыми грибами никому не нужные упавшие яблоки.

Подпорки для яблонь огромной рассыпающейся вязанкой стояли у стены сарая, выходящей в сад, — длинные шесты с ячейками для ветвей. Павел Гаврилович за много лет запомнил, какая из них под какую яблоню подходит, но сегодня он и этим не захотел заниматься. Пошел по тропинке, а рука сама привычно тянулась к кустам черной смородины, чтобы снять паутинистые коконы гусениц. Черная пока еще наливалась красновато-бурым соком. Красная смородина празднично сверкала гроздьями рубиновых бусинок, мутно-желтым соком набухли ягоды сладкой белой смородины, особенно любимой внуками. Ряды смородины в центре сада прерывались, и здесь особняком, величественно, не замечая низкого смородинно-яблочного окружения, нежились розы.

В темно-зеленой железно-крепкой зубчатой листве роскошно цвели алые и белые розы. Павел Гаврилович долго смотрел на рыбьи ротики распускающихся бутонов, на безукоризненную строгость восковой лепки белых роз, на щедро-нежную раскрытость лепестков алых, прекрасную и потому не бесстыдную, как прекрасны обнаженные тела на полотнах великих мастеров. Из далекого мужицкого детства пронес через всю жизнь Павел Озерников память о розах из старого помещичьего сада, куда его не пускали, и о пронзительно-прекрасных звучных словах, услышанных им под окнами господского дома: «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали лучи у наших ног в гостиной без огней...» Тогда, в детстве, он уже знал, что будет у него сад с такими розами, и гостиная, и будет ночь сиять, и лунные лучи лягут в гостиной без огней... И теперь сад есть, только пустой. Сейчас даже страшно в этом саду, словно те, кто его создавал, кто рос в нем, отдыхал и гулял, оставили здесь клочья своих растерзанных душ. Не в этих ли колючих ветвях и пышных цветах трепещет сердечко внука, погибшего где-то под бомбежкой? Он так любил розы, прибегал сюда каждое утро, следил за расцветающими бутонами, поливал, бережно собирал осыпавшиеся лепестки, сушил их, и потом пили чай с розовым настоем.

Павел Гаврилович срезал две только что расцветшие розы — алую и белую, и осторожно, как хрустальные вазы, держал их перед собой. За последним рядом смородины и молодых яблонь начинался огород, содержащийся, как и всегда, в совершеннейшем порядке, согласно приложению к журналу «Нива». Сочные кусты картофеля с искрящимися уже кое-где фиолетовыми и белыми цветками, раза в два выше чем у любого соседа: до трех раз орудует тяпкой хозяйка возле каждого куста. На высоких аккуратных грядках ни единого сорнячка. Густо пахнет укропом, луком, томатной ботвой. Огурцы уже нарушили порядок, расползлись во все стороны с грядок, накрыли межи ворохами размахнувшихся листьев, зажгли первые желтые огоньки цветов. Наверное, страшно человеку видеть перед собой бесплодную пустыню, но не страшнее ли такое вот богатство плодов земных, оставшееся без хозяев, без людей, для которых предназначены эти плоды?

Возвращаясь в дом, Павел Гаврилович снова зашел в дровяник и постоял, прислонившись к холодному железно-неподвижному штабелю. Эти дрова были напасены еще прошлым летом. Под вечер на двух машинах привезли дрова. Приехали и рабочие-грузчики — молодые ребята с одинаковыми короткими прическами. Они сами разгрузили и сложили дрова и даже просили, чтобы хозяева ушли и не мешались. Елизавета Григорьевна прилегла отдохнуть, ее на всякий случай закрыли в доме, а Павел Гаврилович стоял у калитки, придерживая на ремне собаку, интересуясь, не ходит ли кто возле дома.

Жена потом удивлялась: в мирное время никогда такого не было, а тут — война, и так позаботились.

— Потому и позаботились, что война. Лучше дрова людям раздать, чем немцам оставить.

— Так не всем же раздают, а только нам. Да и много-то как. На три зимы хватит.

— Вот и пойми, мать: не босякам каким-нибудь привезли, а мне. Знает власть, кто здесь настоящий хозяин.

С властью у Павла Гавриловича всегда были сложные отношения. При царе, несмотря на свою религиозность и добросовестную работу на паровозе, он, как и многие машинисты, перевозил в своем сундучке кое-какие листочки и книжечки, а однажды даже вез на па-

ровозе бежавшего из Брянской тюрьмы террориста, застрелившего какого-то генерала. Озерников считал эти свои поступки необходимыми для службы богу и людям. После революции у него не наладились отношения с властью из-за церкви. Отрекись он от бога, сними иконы — и сам стал бы властью. Но он же не Иуда, не христопродавец, а русский рабочий, сын православного крестьянина и скорее сам на крест пойдет, чем предаст своего бога. А тут изъятие церковных ценностей, а тут — Ваньку Мелькунова в Совет выбрали, и тот начал грозить конфискацией. Тогда Павел Гаврилович решил: босяцкая власть. Но вскоре Ваньку за пьянство сняли и послали куда-то на учебу, у Озерникова не сад конфисковали, а с великим почетом взяли в музей некоторые оставшиеся от дореволюционного времени листочки и книжечки, и все пошло более или менее спокойно.

А в июле сорок первого, когда был оставлен Смоленск, Озерникову предложили создать в его доме тайный склад оружия на случай партизанской войны. Он, конечно, согласился: «Не босякам же доверять» — место удобное: выйдешь из ворот, и за углом уже открывается сизо-темная полоса Брянского леса.

Вернувшись в дом, Павел Гаврилович прошел в свой кабинет и поставил розы в вазу на письменном столе. Окна кабинета выходили на улицу, на рядок деревьев вдоль канавы, на поросшую травой дорогу, развороченную в середине гусеницами немецких танков. В кабинете кроме стола была кровать, кушетка и этажерка с любимыми книгами: Библия, Лев Толстой и «Альбом профилей Московско-Киево-Воронежской железной дороги». Сегодня хозяину хотелось найти какие-то другие строчки, простые и мудрые, вечные и верные. Он прошел в библиотеку рядом с террасой и открыл окно в сад. Порыв ветра царапнул веткой яблони по крыше. Загудело железо, зашумела листва в саду и несколько яблок увесисто ударились о землю.

Книги покорно ждали хозяина, чтобы раскрыться перед ним, рассказать все, что знают. Многотомные собрания сочинений, полученные в приложениях к журналам, были переплетены самим Павлом Гавриловичем, и хоть и читались усердно уже тремя поколениями, были в полной исправности. Комплекты «Нивы», «Родины»,

«Вокруг света», приложений к этим журналам — «Развлечения в часы отдыха», «Всемирная панорама», «Всемирное обозрение», иллюстрированные издания Шекспира, Данте, Мильтона, Гете, Пушкина, Державина...

Старший внук целыми днями пропадал здесь, вдыхая душноватый запах старых желтых страниц, открывая под обложками мраморного цвета то забытого добродушного Загоскина, то велеречивого Ростана, то увлекательного Мордовцева, всматриваясь в портреты усатых людей в заклеенных орденами мундирах в «Иллюстрированной хронике Русско-Японской войны». Просил книги в Москву, но дед библиотеку не раздавал. Где бы сейчас искать эти книги, когда и внука-то самого нет? А впрочем, кому они теперь нужны?

Павел Гаврилович вернулся в кабинет, переставил розы со стола на окно: цветы не соответствовали необходимому разговору, и позвал жену.

— Что, батюшка? Не обедать ли захотел? Или молочка попьешь?

Нахмурившись и поглядывая исподлобья на хозяйку, Озерников сказал:

— Я напишу документ, но могу не успеть, и потому на словах тебе приказываю: вернутся наши — передашь сад и дом государству. И молчи! Не блажи! Дура!

Елизавета Григорьевна не успела заплакать: привычка к повиновению помогла.

— Хорошо, батюшка. Слушаю.

— И библиотеку им передашь. Пусть читают. Может, поумнеют.

— Что уж ты, Павел Гаврилович, так тревожишься? Что ж ты меня одну на свете хочешь оставить? Живи, батюшка. Терпи. С немцами можно жить. Они ж тоже люди.

— Не люди они! Зверье! Всю жизнь их ненавидел!

Он действительно с детства ненавидел немцев: «По часам в сортир ходят, по грошу пятак собирают, а за человека и копейку не дадут». Озерников многие нации не любил. Евреев: «Христопродавцы...» Даже своих русских: «Пьяный народишко — босяки». Но это на словах. А в 1906 году в Белостоке свою квартиру заполнил евреями, спасавшимися от погрома, и сам защищал их с наганом, взятым в боевой дружине. В два-

дцатом году на станции Навля никто подходить не хотел к пятерым бойцам интернационального полка, умиравшим от тифа, — Павел Гаврилович своими руками донес их до перевоза, привез в Брянск и сдал в госпиталь. Все возмущались: «Ради кого ты, Гаврилыч, от тифа хочешь умереть, детей сиротами оставить?» «За добро бог не накажет», — уверенно возражал Озерников и тифом даже и не заразился.

И с немцами могло бы произойти нечто человеческое, но получилось другое. Еще сидели в кабинете с хозяйкой, когда загремели в ворота прикладами. Скрытно подошли — Павел Гаврилович в окно ничего не заметил. Только одновременно с ударами прикладов появился ствол автомата в окне, над вазой с двумя розами.

Ворвавшись во двор, немцы сразу бросились в сарай и начали раскидывать дрова. Озерников понял, что жизнь кончена.

Лишь в последние сознательные минуты существования человек узнает цену своим делам, своей жизни. Немцы дали машинисту Озерникову возможность все понять и оценить до конца. Они вывели его на улицу, и пока выгружалось оружие из дровяника, Павел Гаврилович в последний раз смотрел на глухой забор своего сада с рядом строгих елей за ним, за калитку с кольцом, ведущую к флоксам и жасминам, на оранжевые стены дома с белыми окнами, с двумя розами в вазе в одном из них. Немцы не убивали и даже не били Озерникова, чтобы он мог в подробностях рассмотреть, как вспыхнул забор, и словно свечки взялись пламенем ели, облитые какой-то дьявольской жидкостью. Широким костром полыхнул дом, затрещали его сухие стены, горячим светлым дымом вознеслись к небу и сотни томов книг, и голубые кресла, и часы, отмеривающие вечное время, и картина «Отъезд русских добровольцев на войну 1877—78 гг.», и все, что создал Павел Озерников за свою жизнь. Немцы дали ему возможность увидеть, как все дотла выгорело в его саду, даже трава превратилась в дымящийся пепел. У него на глазах застрелили Елизавету Григорьевну, еще помедлили, чтобы он вспомнил погибших детей и внуков, чтобы вспомнил о немецких армиях, выходящих на Волгу, и только потом убили.

А летом сорок пятого через станцию «Брянск первый» пошли эшелоны с запада.

Эшелон с артиллеристами подходил к станции на рассвете. В вагонах всю ночь пили спирт, говорили о женщинах и пели под аккомпанемент сверкающих серебром и костью трофейных аккордеонов, мешая «Карие очи» с трофейными немецкими фокстротами. В офицерской теплушке тоже пили и пели, и всю ночь играли в преферанс. Расписали пульку как раз перед Брянском. Молодой майор, оказавшийся в небольшом проигрыше, выбросил на чемодан, служивший столом, несколько красных тридцаток и поспешил к раскрытой двери, где стояли обнявшись два хмельных лейтенанта, перегнувшись через барьер, окунали горячие головы в ветер Брянских лесов и пели о том, что «ночь коротка, спят облака и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука...» Эшелон грохотал по временному неказистому мостику через маленькую речку. В стороне темнели искореженные фермы старого моста.

— Будешь топиться с проигрыша, майор? — спросили его.

— Если топиться, то только здесь.

Он смотрел вниз на стеклянно-серую полосу лучшей в мире реки Снежки, на песчаные берега, поросшие мохнатым тальником. Еще не совсем рассвело, и все цвета были поглощены туманно-серым, словно пеплом военных пожарищ занесло сказочное детство с этой вот речкой со снежно-белыми берегами, с заводью под мостом, где плотва ловилась точно по книжке Аксакова из дедовской библиотеки, с просторным лугом между речкой и поселком, где жарким утром собирались на покос, разыгрывали делянки и шли потом ступенчатым рядом, слаженно взмахивая звенящими косами. Он убегал на речку, и дед грозился: «Если утонешь, поганец, я об тебя свою палку изломаю!» Дядья тайком от деда договаривались насчет «маленькой» и потом не спеша купались, обсыхали на песке, рассуждали о событиях в Испании, а сами то и дело поглядывали в воду, под нависший над речкой куст, где покачивалось поплавком горлышко охлажденной бутылки...

Поезд в считанные секунды промчался над испепе-

ленным детством и остановился на станции: с одной стороны — руины вокзала, с другой — деревянный барак с табличкой «Брянск I».

— Как говорится, одно название, — сказал майор. — А какой ресторан здесь был шикарный...

Он быстро побрился перед осколком зеркала, пристроенным к стенке вагона, поправил ремень, сдвинул чуть набекрень лихую артиллерийскую фуражку с насечкой по козырьку в делениях угломера.

— Хорош, — сказали ему. — Слегка выбрит и чисто пьян. Пошел, что ли?

— Пошел. Батя знает. Если что — на пассажирском догоню.

Майор легко спрыгнул на землю и зашагал по знакомой дороге. Сразу за станцией начинались развалины и пожарища, к которым привык майор за годы войны. Другого он и не ожидал здесь увидеть. Обуглившиеся русские печи среди груд пепла, заросли чертополоха и крапивы, землянки, а кое-где уже и светлые доски новостроек. Место, которое искал майор, было заметным: там кончался бывший поселок, и за порубками синела опушка Брянского леса. Однако здесь уже основательно начали строиться, причем, не по линиям старых улиц, и майор долго блуждал среди развалин, бурьяна и заборов. Остановило его то, что должно было бы остановить, даже если бы он ничего не искал: среди старого пепелища, заросшего крапивой, цвели розы. Алые и белые слоисто-нежные цветы раскрылись навстречу солнцу, пухлые прозрачные фасолинки росы изломисто сверкали на темно-зеленых жестких зазубренных листьях.

Трофейным ножом с зеркальным лезвием, на котором была выбита свастика, майор срезал две розы — алую и белую. Куст не сопротивлялся, не уколол шипами: узнал своего.

Постояв печальную минуту, майор, не оглядываясь, зашагал к станции. Он все помнил и все нес в себе: и старый сад, и тихий просторный дом, и душноватый запах пожелтевших страниц, когда ветер царапает веткой яблони крышу библиотеки, и уроки деда, и красивых своих дядек, сложивших головы за родную землю. Он все нес в себе в свою большую неизвестную жизнь, в свой сад, который он должен взрастить.

Мимо парка

Двое сидели в троллейбусе рядом. Они ехали на работу. У открытого окна сидел задумчивый. Другой, оживленный, спрашивал:

— И долго вчера местком заседал?

— Закончили что-то в районе одиннадцати.

— Значит, первое место все-таки отделу Сергеева!

— В субботу будут знамя вручать.

— Обидно.

— Ничего не сделаешь. У них модная тематика. Мыслящие машины. Сейчас фильмы об этом снимают.

Они ехали на работу и говорили о том, что их волновало, о том, чем они жили. А они жили, чтобы создавать очень сложные приборы и до полуночи сидеть в прокуренной зале, споря о том, на каком этаже должно стоять Красное знамя института.

Оживленный сильно огорчался.

— Мне не повезло с запоминающим устройством, — говорил он. — Если бы мне удалось наладить макет, у нашего шефа тоже был бы козырь. Но запоминающее устройство не лезет ни в какие ворота.

На большой круглой площади троллейбус до отказа заполнился пассажирами, осторожно миновал перекресток и вышел на широкое прямое шоссе, развивая скорость. Сразу же справа по ходу потянулся большой старинный парк. Задумчивый смотрел туда.

Не парк, скорее лес, чудом сохранившийся в городе. Он тянулся вдоль шоссе на несколько километров, и каждое утро можно было видеть его затихшие старинные деревья, если сесть в троллейбус у окна.

Тонкая металлическая решетка с геометрической непреклонностью отделяет парк от остального мира. По

шоссе двигаются железные коробки, набитые невыспавшимися людьми, по асфальтовой дорожке вдоль ограды спешат опаздывающие, торопливо на бегу затягивающиеся душным сигаретным туманом. А за металлической решеткой — парк. Совсем рядом и бесконечно далеко. Где-то в невозвратном прошлом.

Металлическая ограда принадлежит не городу, а парку. Она верно и бережно охраняет старость столетних дубов от вторжения города. Кажется, не будь ограды — сейчас же, яростно рыча, сюда ворвутся машины, гудящие на шоссе.

Парк всегда волнует задумчивого пассажира, будит забытое, требует каких-то ответов и решений.

Зимой, когда приходится ехать на работу в ночной темноте, и троллейбус, миновав темные массы домов с дружно загорающимися окнами, сворачивает сюда на шоссе, парк стоит мрачный, одинокий, чужой. Свет из окон троллейбуса цепляется за голые ветки, скользит по сугробам. Иногда из-за стволов выкатывается блестящий желтый диск луны. И поднимается тогда к сердцу радостный холодок, представляются какие-то неведомые тройки с бубенцами и звонким девичьим смехом, ощущаешь колющий румянец на щеках, кажется, будто вдыхаешь аромат свежего снега.

А если нудный осенний ветер гнет ветви дубов, то в шуме парка слышится голос вечной бури, в которой растворяются и исчезают кажущиеся тревоги твоих будней.

В ясное летнее утро за металлической оградой неистовствует праздник зеленого и голубого. Почти слепнешь от сияния зеленых крон, щедро пропитанных солнцем и просветленных бесконечной голубизной. И гул утреннего шоссе тогда сливается с птичьим гомоном в одно торжественное звучание.

Он уже несколько лет ездит мимо этой ограды. Всегда садится справа у окна и ждет, когда покажется маленькая, почти незаметная калитка в ограде. Он понимает, почему калитка сделана такой маленькой и незаметной. Дело в том, что не каждому дано увидеть эту калитку. Не каждый имеет право покинуть шоссе и войти в парк.

Как-то он предложил жене съездить в воскресенье в лесопарк. Она очень удивилась. Ведь там негде даже попить воды! Лучше позагорать на пляже, а в лесопар-

ке бывают только влюбленные студенты. Да и добираться туда с девочкой очень тяжело. Жена, конечно, была совершенно права.

Он должен был пойти сюда один, во время летнего отпуска, но в первый же отпускной день всей семьей выехали на юг. Там было очень солнечно и весело. Даже слишком весело для того, чтобы могло быть хорошо. У жены был красивый купальный костюм, девочка хорошо поправилась и посвежела.

А теперь он снова ехал мимо парка. Деревья уже устали от жаркого лета и грустно желтели. Осенней смертью умирали листья, а он так и не был здесь.

Теперь он решился. Сейчас будет остановка, на которой нужно сойти, чтобы войти в калитку. К калитке надо идти таким же быстрым шагом, как все спешащие на работу, чтобы никто не догадался, куда он идет. Поравнявшись с калиткой, надо осторожно осмотреться и, никем не замеченным, войти в нее. Калитка захлопнется, и он окажется в парке вместе со старыми деревьями.

Металлическая ограда равнодушно-доброжелательно, как старый часовой, возьмет и его под свою защиту. Тени машин и людей останутся там на шоссе, далеко позади. Под ногами зашуршат желтые листья, и он пойдет по парку.

Он пойдет без тропинок, не выбирая направления, но твердо зная, куда идти. Парк будет по-осеннему прозрачно-тихий. Нежно-красное, желтое и белесо-голубое успокоят глаза, прожженные мириадами печатных знаков. Он может лечь на спину на груде хрустящих листьев (теперь уже не нужно заботиться о чистоте костюма) и смотреть на небо. Небо далекое, спокойное, не очень ласковое, осеннее. Кружась, будут падать листья. На грудь, на лицо.

Потом он выйдет к пруду. К сказочному старому пруду. В воде отразится близкий противоположный берег — опрокинутые желто-красные деревья, покрытые размазанными штрихами едва волнующейся поверхности. А у этого берега вода темно-зеленая, почти черная. Над ней склоняются ивы, у берега желтыми червячками плавают упавшие листья, и знаешь, что там глубоко и холодно. Но вода живет, что-то существует там, от чего-то непрерывно расходятся круги.

И тогда он узнает эту воду! Много лет она текла за ним, искала и наконец нашла. Она пришла за ним из маленькой речки, скромно прячущей свою прелесть в дремучих Брянских лесах. Из маленькой речки, омывающей корни огромных деревьев и обласканной удивительно белым, снежным песком.

Эта темно-зеленая, почти черная вода плескалась в омуте под непролазной гущей лесного берега. Тогда было по-июльски жарко. Они вместе со взрослыми долго шли по лесу, пробовали недоспевшие светло-зеленые мягкие орехи, искали ягоды, забредали в болотца и срезали там роскошные камыши. Потом вышли к речке и кинулись в воду. Их интересовала не столько сама речка, сколько маленькие жирные плотички, кишащие в омуте под обрывом. Зайдя по колено в воду, они забросили удочки и, азартно волнуясь, вытаскивали маленьких барахтающихся рыбок. Задача заключалась в том, чтобы наловить больше товарища. Неподалеку плескались и шумели купающиеся. Вдруг Мишка стал невнимателен, вертел головой, пропуская поклевки. Он явно проигрывал соревнование.

— Посмотри, — волнуясь сказал Мишка. — Валька там совсем голая купается.

Он покосился и увидел белую голую девочку, стоящую недалеко лицом к ним по колено в воде. Увидел все! Такое откровенно нежное, неизъяснимо волнующее. А Мишке сказал, что ничего особенного в этом нет и смотреть туда стыдно. И сам больше не поворачивался. Только чувствовал, как горит та сторона шеи справа сзади, которая обращена к Вале.

Об этом напомнит ему вода, когда он сядет на высокий берег с сухими былинками травы, усыпанной желто-бурыми листьями. Чуть заметный ветерок колыхнет воду. Она легко плеснет о берег и шепнет те простые большие слова, которые он ищет вот уже столько лет. Она скажет, куда он должен идти.

Идти нужно по другой дороге. Туда, где еще осталась тишина. Он пойдет туда неторопливо и уверенно, как человек, принявший решение. Парк одобрительно зашелестит вершинами деревьев, провожая его. Самые красивые и большие желто-красные листья закружат над ним в прощальном полете.

Он пойдет через парк к выходу. Но не к главным во-

ротам, украшенным аллегорическими уродливыми фигурами. Там шумит город и еще едут на работу его товарищи. Теперь, когда он должен уйти, ему нельзя переходить ту черту, которая началась металлической оградой парка. Надо выйти через другие ворота в старый умирающий район города.

Неумолимое кольцо строительных кранов уже сжимается вокруг этого района, ведя за собой стройные отряды пятиэтажных коробок домов. Но они еще далеко. Здесь стоят в задумчивой старости потемневшие бревенчатые домики. Осыпающиеся сады радуются нежаркому солнцу. Разноцветными сигналами светится развешенное белье. Из-под дырявых заборчиков слышно возбужденное кудахтанье кур.

Здесь нет стеклянных павильонов с кофеварками. На углу напротив водоразборной колонки стоит древняя давно не крашенная палатка «Пиво — воды». Возле нее всегда люди. Это не длинноволосые юноши и не девушки в джинсах. У палатки стоят здешние мужчины. Они в фуфайках, комбинезонах, старых плащах. Они не всегда хорошо выбриты, и на их руках несмываемая чернота литейных цехов, строительных площадок, товарных станций. Они пьют пиво, достают из карманов сушеную рыбу, сало, хлеб.

Здесь хорошо пить пиво. Оно всегда свежее и наливается по норме — продавщица знает своих покупателей. Он обязательно подойдет и попросит кружку желто-зеленого пенистого напитка. Стоящие у палатки посторонятся вежливо, но достойно. Они не обратят внимания на коричневый костюм и яркий галстук. Они смотрят человеку в глаза.

Когда ты будешь пить свое пиво, тебе тоже посмотрят в глаза. Они увидят там все, что ты узнал в парке, и поймут, куда ты идешь. Они посторонятся, чтобы не испачкать твой костюм. Не из вежливости, а по-товарищески. Ведь костюм дорогой, а им известны только очень тяжелые способы добывания денег.

Если у них будет водка, они предложат тебе. И ты не откажешься — тебе оказывает уважение рабочий человек. Возьми их видавший виды стакан, который они символически сполоснут пивом, и выпей свою долю спокойно, не особенно морщась. Тебе дадут закусить помидором (со своего огорода) и предложат короткую папи-

роску. Когда ты пойдешь дальше по своей дороге, они попрощаются с тобой:

— Ну, бывай, браток!

Он долго будет идти по тихим улицам, обходя гудящие дымные проспекты. Станет прохладно, и город начнет растворяться в фиолетовых сумерках, когда он выйдет к вокзалу. Спокойно осмотрит площадь, вечно кипящую встречными потоками людей, беспорядочно заставленную автомобилями. Не спеша пройдет через площадь. Теперь ему никогда больше не надо будет спешить. Сегодня с ним не будет тяжелых чемоданов и жена не станет возмущаться тем, что он забыл купальные тапочки. Не будет умолять о мороженом девочка.

Он возьмет билет и выйдет на перрон. Там зажгутся огни и у южного поезда будут тревожно суетиться люди. Он станет у окна в коридоре и будет снисходительно смотреть на бестолковые прощанья.

Когда поезд тронется, он отойдет от окна, чтобы переждать тоскливые огни уходящего города. Возникнет ощущение глубоко нырнувшего и поднимающегося обратно на поверхность. Человек сдерживает дыхание и спешит скорее вырваться из неласковой глуби и глотнуть сладкого воздуха. И он дождется, когда вдруг в полуоткрытое окно повеет прохладой полей. Прильнет к окну и увидит бесконечную, берущую за сердце, черноту и скудные огоньки далекой деревни.

Веселый майор из соседнего купе пригласит на преферанс, но он не пойдет — пусть играют втроем. Лучше стоять у окна и смотреть в черную бесконечность.

А утром поезд вдруг окажется в совершенно новой стране. В этой стране очень много неба, потому что его ничто не закрывает. Небо здесь большое, мягкое, золотистое, теплое. А под небом — веселая плоская земля с беленькими хатками, раскиданными по степи.

В степи есть маленькая станция. В гуще садов и белых хат построено неожиданно большое и стройное каменное здание вокзала. Этим архитектурным украшением село обязано той счастливой случайности, что во время войны здесь трижды сгорало все дотла. Станционное здание было построено по программе восстановления, а белые хаты поднялись как-то сами, такие же, какими были раньше.

Он сойдет на этой станции. Поезд простоит свои две

минуты и весело загрохочет дальше на юг. И тогда, наконец, в мире наступит тишина.

Старый усатый дед, дремлющий на солнышке на станционной скамейке, проснется, прокашляется, спросит:

— Це, мабуть, московский прошел?

И снова задремлет, не дождавшись ответа.

За станционным зданием небольшое заросшее густой травой пространство, имеющее значение площади. Сейчас трава здесь по-осеннему желтая, твердая. Посреди площади на постаменте хмурое печальное сооружение — солдат с автоматом — памятник погибшим.

Он пройдет площадь и углубится в веселую россыпь белых хат. Тишина станет еще полнее, потому что ее подчеркнет неожиданный ленивый вскрик петуха и чье-то звучное контральто:

— Титовна-а! Чи у тебя крейды богато?

Он остановится у маленькой хатки с зелеными ставнями. Здесь даже днем редко открывают ставни, чтобы в комнатах было прохладнее и не было мух. Он будет спокоен, и сердце не будет сжиматься в волнении. Он просто приехал сюда после работы, как обычно дневным пригородным, и Галя ждет. Нужно только громко постучать три раза по зеленой ставне и входить в калитку. В садочке уже все желтеет, но яблони еще усыпаны блестящими шариками плодов.

Из низкой двери выйдет Галя в том же самом стираном синеньком платье. Те же большие глаза, те же карие очи глянут на него.

— Ты все же приехал до меня, Юрко? — скажет Галя.

Потом они войдут в дом и сядут у покрытого старой клеенкой стола. Галя немножко заплачет.

— Я ни с кем не могла после тебя, — скажет она. — Ругала себя. Дура, говорю, чертова, чего ты ждешь? Ухлестывали тут разные. И хорошие парни были. А ничего не могу с собой поделать. Так бы и осталась одна.

Он будет смотреть на низкий потолок, на чисто выбеленные стены, на какие-то вечные засохшие травы в кувшинчике, на чугуны на плите (в одном всегда борщ, в другом — компот — «звар»).

Он будет слушать тишину.

Здесь не спросят, как у него дела с диссертацией и

когда будет закончеиа премиальная тема. Здесь не пользуются тензорным анализом и никому не нужен его метод расчета иелииейных систем, опубликованый недавио в техническом журиале. Все, что иужио Гале для счастья, находится рядом: теплое большое небо, веселое село с крикливыми соседками, тяжелеющий плодами сад, тихая комната с широкой кроватью, застелеииой белым покрывалом.

Троллейбус мииовал, иаконец, парк, свериул с шоссе в сторону, и сразу показались белые корпуса института. Они освещались солнцем сзади, и большие во весь этаж окна казались темиыми леитами, опоясывающими здаиия. Иститут занимал миого корпусов, иекоторые еще достраивались. Возле их торчали башеииые краиы и громоздились стройматериалы. Там, где строительство закончилось, все было прибраио и вдоль дорожек уже стояли стройиыми солдатскими рядами какие-то красиые цветочки.

Троллейбус теперь был иаполнен только сотрудниками института. Оии здоровались, обменивались первыми словами.

— Привет красиозиамеицам!

— «Спартаку» вчера делать иечего было.

— Сегодия будет семиıар по кибернетике?

— А вы зиаете, Николай Иваиович, я был все-таки прав — интеграл берется.

— Вообще-то обе команды — лохмота.

Тот задумчивый, что сидел у окиа, сказал своему соседу:

— Я всю дорогу думал о твоем запоминающем устройстве и нашел одну интересную возможность.

Семинар по философии

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете как миф
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Николай Майоров

Вспомнилось ему, что семинар по философии назначили как раз на пятницу — 17 октября, а во вторник Владик встречался с Машей. Выдался один из тех светлых, сухих и тихих дней, которые выпадают перед ветрами и дождями поздней осени, и природа не то затаивается, накапливая злые силы, не то устраивает какой-то последний грустный праздник.

В Сокольниках, на давно не метенной аллее, ведущей от метро к парку, густо шуршали под ногами скрюченные пятнистые листья, клочки бумаги и окурки. Наверное, потому что прохожие были молчаливы и угрюмы, и потому что машины не часто погромыхивали по булыжной мостовой за широким газоном, казалось, что вокруг только тишина и прохладный осенний простор.

Не доходя до широкого деревянного здания пивной, закрывающего вход в парк старыми щелястыми бревнами стен, они повернули направо и подождали, пока по мостовой проедут две легковые машины.

Обыкновенные М-1 — «эмки», только не сверкающие темно-синим лаком, а окрашенные в скучный зеленый цвет и замазанные большими черными бесформенными пятнами. За стеклами — серые шинели, зеленые петлицы, в радиаторе последней машины несколько засохших веточек — остатки маскировки.

— Большой театр тоже так замазали, — сказала Маша.

— И Мавзолей, и Кремль, — сказал Владик.

Напрасно он тогда напряженно думал, что его мятые брюки, очки и старый портфель неуместны рядом с

праздничным лиловым костюмом Маши, с ее настоящей взрослой прической — прозрачио-пушистая челка иа лбу и густые светло-золотистые волиы сзади. Напрасио стеснялся взять девушку под руку, убеждая себя, что она просто школьиая подруга, что ему надо кого-то полюбить по-настоящему. А встретив ее несколько дией назад иа воскреснике, где все студенты Москвы рыли противотанковые рвы, и договариваясь о свидании, он откровенно и даже с какой-то расчетливостью думал, что ему уже восемнадцатый, что он Машу знает с детства...

Правда, там, на воскреснике, Маша была как все — в лыжных штанах, в старой кофте, в платочке, и он запросто разговаривал с ней о студенческих делах и вспоминал разные школьные истории.

Может быть, стоило пойти в парк или сразу поехать с ней домой, вместо того чтобы идти в этот маленький кинотеатрик, притулившийся среди старинных деревянных домов, и там, в сумрачном фойе, избегая Машиного непонятного взгляда, не то испуганного, не то радостного, горячо рассуждать о философии.

— Я помню твой реферат, — сказала Маша. — Ты еще в школе на кружке докладывал. Ты настоящий ученый.

Он и сам чувствовал в себе нечто такое, что, наверное, делает человека ученым. Читая философов, и древних, и недавних, он будто беседовал с друзьями. Некоторые их мысли всегда были его собственными мыслями, другие он еще раньше обдумал и отбросил, и даже многие новые идеи, встречавшиеся в книгах, казались ему знакомыми.

И реферат написал ои хороший — профессор обещал после обсуждения на семинаре иапечатать в студенческом сборнике. Только перечитывать его противно, потому что кажется, будто ои там что-то солгал, может быть, в самом главном.

В кино сначала показали военную хронику: пушки, замаскированные ветками, стреляют куда-то вдаль, и их стволы страино отскакивают иазад, а потом плавио накатываются на место; обломки подбитого иемецкого самолета, и рядом иечто малеикое, скрючившееся

и распластавшееся, только по шлему можно догадаться, что это было человеком; рабочие, вступающие в народное ополчение; женщины в халатах и косынках, обтачивающие на станках снаряды. И лозунги: «Все для фронта! Все для победы!»

— Тебя совсем не возьмут на фронт? — спросила Маша, будто догадавшись, о чем думает ее спутник.

— Мне же только семнадцать. Да и зрение.

А фильм был спокойный, добротный — как будто и нет никакой войны, как будто и не было вчерашней сводки о том, что «наши войска после многодневных ожесточенных боев оставили город Вязьму».

— Маша, тебе не странно, что сейчас мы смотрим «Дело Артамоновых»?

— Не понимаю, что может быть в этом странного?

— Но ведь война... А они снимают такой фильм.

— Ну о чем ты?..

Может быть, действительно ничего странного не было в том, что на студии «Мосфильм» снималась картина «Дело Артамоновых», в университете проходили лекции и семинары, а под Вязьмой шли бои с немцами?

Маша сидела неспокойно, вздыхала, часто взглядывала на него, и рука ее то падала, то поднималась на подлокотник, осторожно касаясь его руки. Владик притворялся, что не замечает этого. Неужели можно было просто охватить ее мягкие большие плечи, коснуться пушистых волос и целовать щеку, шею, губы?

Сеанс кончился засветло, и в тот день еще долго пришлось думать, нервничать, решаться и не решаться.

Он подсаживал Машу в трамвай и крепко почувствовал в руках ее тело и одежду, ту, которую видно, и ту, которую не видно. Это было стыдно, приятно и страшно. Похоже на то, как в детстве он с ребятами тайком от родителей пил вино.

Серый день уже начинал переходить в дымно-голубые сумерки. В узких дверях между пятиэтажными домами, выходящими торцами на тротуар, накапливалась тяжелая темнота, и не оживляли ее желтые уютные квадратики окон, как когда-то в мирное время. Безветренный, словно мертвый, осенний воздух наполняла глухая тревога, и небо на западе и севере давило клубящейся чернотой. Это небо давно уже стало привычно недобрым: только и жди, что замигают там в тучах

вспышки зенитных разрывов, и тишина взрежется истерическим воем сирен воздушной тревоги.

Они шли по своей старой улице, давно исхоженной и изученной, но теперь изменившей им и ставшей чужой, темной и неласковой. Витрины «Гастронома», еще недавно бросавшие на тротуар веселые потоки света, пусто чернели, заклеенные бумажными крестами. Школа, в которой весной сдавали экзамены и танцевали на выпускном вечере, была похожа на старый заброшенный замок. Во всех ее окнах только унылый блеск отражений свинцово-серого неба.

— Может быть, ты возьмешь меня под руку? — спросила Маша.

— Мы пойдем ко мне. Ты замерзла.

— Да, — сказала Маша тихо, почти шепотом.

Он знал, что мать должна прийти поздно, а открыв комнату, увидел на столе записку: «Сыночек, я сегодня дежурю. Кушай суп и котлеты. Умоляю, не выключай на ночь радио, и если будет тревога, обязательно спустись в убежище».

В окна третьего этажа еще падал угасающий серый свет, и можно было увидеть неразбериху ржавых крыш, заборов, сараев, а за ними желто-бурые вершины деревьев парка.

— Ну вот, — сказал Владик. — Мать какой-то суп сообразила. Будем обедать.

Маша села на диван, опустив глаза, сжавшись, будто в каком-то тревожном ожидании.

— Надо сразу завесить окно, — сказал Владик.

Он потоптался по комнате, подошел к окну, потом вернулся к двери, зажег свет и только после этого опустил тяжелые светомаскировочные шторы.

— Все, — сказал Владик решительно. — Давай обедать.

Он подумал, что поступает правильно и честно, что грязно и стыдно заманивать к себе усталую и озябшую девушку и дать волю своим низменным желаниям. Да он и не любит ее, а это может произойти только с той, которую он полюбит по-настоящему.

— Смотри, какое письмо отец прислал с фронта, — сказал Владик, показывая обычный конверт с чернильным штампом военной цензуры.

На внутренней стороне конверта у самой складки

была написана фраза, не замеченная цензором: «Продолжаем отступать, воюю под Брянском».

После обеда Владик завел патефон.

Голос негромкий, но знающий свою силу, то стелющийся бархатным баритоном, то надрывающийся по-цыгански, уверенно убеждал в том, что если и есть в жизни что-нибудь хорошее, то это только сладкая печаль и любовь, грустная и спокойная. У Владика была самая модная пластинка:

Свиданья час и боль разлуки
Готов делить с тобой всегда.
Давай пожмем друг другу руки
И в дальний путь на долгие года...

— А это твоя,— сказал Владик, ставя пластинку с голубой наклейкой.

Тот же голос вкрадчиво и нежно запел:

Улыбнись, Маша,
Ласково взгляни.
Жизнь прекрасна наша,
Солнечные дни...

— А под эту мы, кажется, с тобой на вечере танцевали.

Зазвучало странное танго: нервная печальная мелодия рвется краткими аккордами скрипок, поддерживается низкими переливами аккордеона и рассыпается звонкими брызгами верхних звуков рояля. Танго так и называлось — «Брызги шампанского».

Под эту музыку училось танцевать поколение мальчиков тридцатых годов; мальчиков, которые в сороковых стали солдатами. Танго очень подходило к тесным комнатам коммунальных квартир, к маскировочным шторам на окнах, к ожиданиям воздушных тревог и сводок Информбюро.

Маша и Владик танцевали на небольшом пространстве между столом и диваном.

— Хватит. Я больше не хочу, — сказала Маша, высвобождаясь из осторожных рук Владика. — И вообще я иду домой.

— Я провожу тебя.

— Не надо меня провожать. Не надо. Открой, пожалуйста, дверь и... и до свидания.

Она нетерпеливо вырвалась из комнаты, словно задыхалась здесь и спешила глотнуть свежего воздуха.

Потом он сидел за письменным столом над рефератом, в котором с помощью древних философов доказывалась высшая мудрость самоотверженности и героизма и который было противно перечитывать, потому что автор сидел в чистой тихой комнате и пил чай с конфетами, в то время, как другие умирали под танками на подступах к Москве.

Перед сном Владик вспомнил о записке, оставленной матерью, и подумал, что мамину просьбу, конечно, надо выполнить, и радио на ночь не выключать, но регулятор повернуть так, чтобы ненавистные слова «граждане, воздушная тревога» были еле слышны и не могли разбудить.

Он и не услыхал ни тревоги, ни отбоя и проснулся, когда по радио гремела ежеутренняя торжественная мелодия:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

В комнате с наглухо занавешенными окнами только по звукам радио и можно узнать, что наступило утро.

Едва проснувшись, он ощутил неясную тревогу и подумал, что это осадок вчерашнего дня, но не прошлое, а будущее предупреждало его, собираясь тяжелой тошной тяжестью в груди.

Пробравшись на ощупь к окну, обозначенному едва заметным голубым мерцанием, Владик поднял штору и увидел, что город был покрыт снегом. Настоящий снег, равнодушный, ровный, чистый, лежал на крышах, на заборах, на мусорных ящиках, на земле. Там, где еще вчера были видны осенние краски парка, сейчас стеной стояла темно-фиолетовая с багровым оттенком туча, сложенная из нескольких слоев, сшитых ломаными светлыми швами.

Владик не помнил, чтобы зима в Москве начиналась в середине октября.

По радио пропищали сигналы точного времени, после которых давно уже не говорят ничего хорошего. И сегодня голос диктора звучал с особой зловещей бесстрастностью:

— От Советского Информбюро. Утреннее сообщение пятнадцатого октября. В течение ночи с четырнадцатого на пятнадцатое октября положение на Западном

направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке фронта прорвали нашу оборону...

Снег неумолимо падал и не таял. Во дворе уже протопталась цепочка овальных следов, серовато-желтых, похожих на подмоченный сахар. За воротами всегда был родной перекресток с милиционером, с натужным скрежетом трамвая, поворачивающего к площади, с тихой мужской очередью у коричневатого газетного киоска. Сегодня здесь было другое.

Вместо милиционера на булыжной полосе возле трамвайных рельсов стояла девушка в шинели, темно-синем берете, с красными флажками в руках. За ее спиной, по всей улице, отходящей от перекрестка, бесконечным желто-красным поездом стояли трамваи.

Девушка подняла один флажок вверх, другой отвела в сторону, и слева покатились машины. Они сразу заняли всю улицу, и больше ничего не стало видно, кроме них. Обыкновенные трехтонки с темно-зелеными дощатыми кузовами. В каждой машине рядами, лицами вперед, сидели красноармейцы в одинаковых новых серых шинелях, в одинаковых голубых шапках, с одинаковыми угрюмыми лицами, с одинаковыми автоматами на груди. Снег на дороге стаял, в лужицах, образовавшихся в неровностях асфальта, отражалось серое небо, и тени машин плыли по нему, как гонимые крепким ветром облака.

Легко и плавно, с одинаковой скоростью, с одинаковыми интервалами, машины катились, катились, катились.

Почему-то вся эта картина сначала показалась Владику совершенно бесшумной, как немое кино. Только когда один из бойцов, сидевший у борта проезжающей машины, обернулся и что-то сказал товарищу, Владик услышал звуки.

Монотонный гул моторов, мокрый шорох шин, истерические звонки трамваев.

На трамвайной остановке за углом невиданно огромная плотная толпа ждала, когда пройдет колонна.

Как только прошли машины, трамваи двинулись один за другим, но почему-то шли вагоны неизвестных маршрутов с номерами, каких здесь никогда не бывало.

Толпа кидалась к передней площадке, все кричали, спрашивали, переспрашивали:

— Куда вагон?

— В Сокольники?

— В какой парк?

— По какому маршруту?

Как будто город сильно толкнули, и все сдвинулось со своих привычных мест и покатилось, поехало, поползло, путаясь, сталкиваясь и мешаясь.

Владика притиснули к окну на задней площадке, и он смотрел на улицы, забеленные ранним тревожным снегом, на толпы людей, бредущие по тротуарам или теснящиеся на остановках. Он почувствовал в людях что-то новое, необычное. То ли они не так спешили, как всегда по утрам, то ли лица у них были непривычно злые.

Рядом с Владиком двое мужчин, в кепках и пальто, тихо переговаривались:

— Зря спешим. Какая сегодня работа!

— От Вязьмы не больше двухсот километров.

— У нас во дворе один очкарик чуть свет погрузил свою бабу в казенную «эмку» — и в Ташкент.

— Ничего, далеко не уедет.

— Говорят, сегодня муку будут на месяц вперед выдавать.

— Чтобы им не досталось?

— Танкам по шоссе часа три ходу.

У одного перекрестка трамвай долго стоял, и Владик, прижавшись щекой к холодному стеклу, увидел еще колонну, которая шла не туда, а оттуда

Красноармейцы в растрепанных грязных шинелях, повозка, запряженная рыжей понурой лошадью, кто-то с перебинтованной рукой в повозке на свалявшемся сене. Какие-то кадры из фильма о гражданской войне.

Возле большого завода, где всегда многие пассажиры выходили, черная толпа уперлась шевелящимся полукругом в стены проходной, непривычно режущей глаз закрытыми дверями.

В трамвае спрашивали, комментировали:

— Что там?

— Почему толпа?

— На завод не пускают.

— Сволочи: смылись и зарплату увезли.

— Ничего. Далеко не уедут.

В центре по мокрым тротуарам, лишь у стен домов отчеркнутым подтаивающими полосками снега, тоже двигались толпы людей. Было похоже на праздничное гулянье, только без улыбок и песен.

Возле перехода через улицу Горького на углу Охотного ряда Владику опять пришлось ждать, пока пройдет колонна грузовиков с красноармейцами.

Машины выезжали с Красной площади по обеим сторонам Исторического музея и, сливаясь в широкую гудящую колонну по четыре в ряд, двигались по улице Горького.

— На Волоколамское шоссе, — сказал кто-то в толпе на тротуаре. — Там сейчас...

Что там сейчас, он так и не сказал.

Ряды машин временами разрывались, и в промежутках катились пушки, прицепленные к грузовикам, по две в ряд. Странные пушки: высокие колеса с железными поржавевшими ободами вместо шин, короткие стволы. Наверное, очень старые пушки.

Владик подумал, что если бы сердце не щемило тоскливо, если бы стоять здесь просто любопытным наблюдателем, независимым и неуязвимым, то ощущалась бы только суровая красота происходящего. Толпы людей, стройное движение машин с бойцами, свежий снег, упорно белеющий на крышах, и даже небо, где смешавшиеся тучи образовали ровный иссиня-серый купол — все было связано единым жестким ритмом, все участвовало в трагическом действии, разыгрываемом под Москвой в октябре тысяча девятьсот сорок первого.

Университет, конечно, не мог устоять в потоке этого всеобщего движения, и рухнула его прекрасная строгость звонков, лекций, расписаний. Во дворе, вместо целеустремленного потока опаздывающих, лениво слоняющиеся фигуры. Коридоры заполнены вокзальным шумом и бестолковой суетой.

— Лекций не будет.

— Ничего больше не будет.

— Пора смываться, ребята.

В аудитории на доске кто-то написал огромными издевательски-кричащими буквами: «Семинар по философии переносится в Ташкент».

Университет эвакуировался.

Не могло быть сомнений в справедливости такого решения. Конечно, студенты должны ехать в Ташкент учиться.

Правительство знает, что нельзя оставлять страну без молодых ученых. Каждый по-своему должен исполнять долг перед Родиной. В конце концов ему только семнадцать лет, и вообще он не годен к военной службе по зрению.

Вечером дома было неспокойно, и воздух в комнате казался красным и мутным, наверное, потому, что плохо горел свет и будущий отъезд заволакивал комнату вокзальным туманом, и потому, что мама много курила. Привычная уютная мебель казалась случайным нагромождением вещей, сваленных на перроне. Особенно нелепым и ненужным был патефон и пластинка с голубой наклейкой возле него. И ужин был странный. Только осенью сорок первого мог быть такой ужин: засохший серый хлеб по рубль семьдесят, безвкусный и рассыпающийся колкими крошками, и шоколадные трюфели, которые и до войны-то не на каждый праздник покупали. Сейчас их выдавали по сахарным карточкам.

Неожиданно пришел один дальний родственник. Владик называл его дядей Жорой, хотя толком и не знал, кто он — двоюродный брат матери или бывший муж ее двоюродной сестры. Мать его особенно не жаловала и всегда была с ним пряма и грубовата.

— Ты чего пришел? — спросила она. — Такое время, а ты ходишь. Говорят, бои уже в Химках.

— Говорят, что они уже на Киевском вокзале.

— Какой ужас!

Владик догадался включить радио. Знакомый, чуть ли не родной голос диктора звучал тревожно, но уверенно:

— Враг наступает. Враг грозит Москве. У нас должна быть только одна мысль — выстоять. Они наступают, потому что им хочется грабить и разорять. Мы обороняемся, потому что мы хотим жить. Мы должны выстоять. Октябрь сорок первого года наши потомки вспомнят как месяц борьбы и гордости...

— Чего же ты трепешься, дядя Жора?

— А ты посмотри, что на улице делается. Возле обувной фабрики — смех. Сапоги растащили, а там в

одном месте только левые, а в другом — правые. Вот они на улице и устроили обмен. Кричат: «меняю сорок второй левые», «даю сороковой правые»... Смех.

Высокий, плечистый, с большой круглой плешью, он добродушно улыбался и даже похохатывал, будто его щекотали.

— Какой ужас, — сказала мать. — Ведь это грабеж. За это надо расстреливать.

— Не немцам же оставлять, — сказал дядя Жора.

Угощаясь чаем с трюфелями и сухим хлебом, он посмеивался, иронически качал головой. По поводу эвакуации выразился совершенно определенно:

— И нечего думать, Владька. Обязательно уезжай. И ты, Катя, тоже. Ты знаешь, что здесь будет через три дня?

— Неужели отдадут Москву?

— Это ты не у меня спроси.

— Что-то ты не то говоришь, дядя Жора.

— Да ладно, чего уж, — сказал Жора, улыбаясь так, словно его застали за чем-то предосудительным, и он пытается все свести в шутку. — Владька парень взрослый — поймет. Понимаешь, Катюша, у меня кончилась отсрочка, и сегодня уже прислали повестку.

— Правильно, — сказала мать. — Сейчас все идут. Кто в армию, кто в ополчение. Ведь немцы под Москвой! Все идут на защиту столицы!

— В том-то и дело, что почему-то не все идут. Некоторые едут в Ташкент. У меня друг на этом заводе, еще вчера уехал.

— Но они же работают на оборону.

— Вот так и получается у нас: все для фронта, все для победы, а как на фронт, так уже и не все. Один работает на оборону, другой — заслуженный артист, третий — шофер заслуженного артиста, четвертый — еще кто-то. А я — никто, и поэтому должен идти и подыхать в снегу под танками.

— Но кто-то же должен работать в тылу!

— Мне в общем-то наплевать, как они там организовали. Меня своя судьба интересует. Понимаешь, Катюша, мне нужна справочка, что я не годен к военной службе. Ты же это можешь запросто, тем более, что у вас госпиталь организуется.

— Ты что? С ума сошел?

— А что здесь такого? Я получу справочку — и в эвакуацию.

— Дурак. Даже если бы я и могла, неужели ты думаешь, что я стала бы помогать дезертирам?

— Ну уж и дезертирам, — сказал дядя Жора, хохотнув. — Я тебе о деле, а ты мне лозунги.

— Да! Лозунги! Родина в опасности! Фашисты под Москвой! Весь народ встает на защиту Родины. Инвалиды, старики, больные идут в ополчение. Я сама бы пошла...

— И Владьку бы послала?

— Дурак! Он еще мальчик. У него зрение...

— Вот-вот. У каждого что-нибудь. Ну ладно, Катюша. Я не буду долго распространяться. В общем, не умная ты женщина.

— Подожди, дядя Жора, — сказал Владик, стараясь быть спокойным и бесстрастным. — А кто же должен защищать свою землю, свой город? Если каждый захочет спрятаться за какую-то справку, то немцы завоюют всю страну. Россию никто еще не побеждал. Наш народ всегда вставал против врага, как и сейчас. Вспомни историю.

— Истории писались теми, кто сам никогда не воевал.

— Перестань болтать чушь, дурак! — закричала мать. — Я не помогаю дезертирам. Мой Сергей там каждый день идет на смерть, а ты...

— Уходи от нас, Жора, — сказал Владик.

— Спасибо, дорогие родственнички. Смотри, Катюша, как бы совесть не замучила, если не вернусь.

— Если погибнешь, так честным человеком.

— Постараюсь не погибнуть.

Уходя, он громко хлопнул дверью.

— Какой мерзавец! — сказала мать.

Владик не ответил. Он задумался, прикусил губу, наморщив лоб и уставившись куда-то сквозь пол, покрытый коричневым линолеумом.

— А ты не молчи! — крикнула мать. — Не молчи и не думай! Я не позволю тебе думать об этом!

— Я ни о чем не думаю, мама.

— Завтра ты уедешь.

— Хорошо, мама. Завтра уеду.

Но не уехал, и на другой день возвращался домой вечером.

На окраинных улицах было тихо и пустынно. Черные слепые окна, редкие понурые фигуры прохожих, упрямый снег, слегка синеющий, как чернила, крепко разбавленные водой. Темно-серая гуща неба низко опустилась над городом, и в ней, наверное, ползали немецкие самолеты — время от времени где-то в тучах гулко лопались зенитные разрывы или огромной парикмахерской машинкой стрекотал крупнокалиберный пулемет.

За углом, возле продовольственного магазина, почему-то толпились люди. Сначала Владик подумал, что магазин разбомбили: из разбитой витрины двое мужчин вытаскивали большой ящик, отламывая и разбивая остатки стекла. Он не мог сразу понять смысл происходящего еще и потому, что все совершалось почти в полной тишине, а такое, как ему казалось, должно сопровождаться каким-нибудь яростным ревом. Витрины начинались примерно на уровне плеч людей, теснившихся к стене, и это мешало быстро вытащить ящик. Возле него возились молча, не глядя друг на друга.

Все стало ясно, когда один из толпы — у него было странно знакомое улыбающееся лицо — сказал:

— Давай эту кокнем. Там вино.

Он поднял что-то с земли, и крайняя от угла витрина, самая ближняя к Владику, раскололась и зазвенела осколками.

Владика лихорадочно затрясло так сильно, что он даже не мог подробнее разглядеть и узнать улыбающегося. Теперь почти ничего не осталось в мире, что не рушилось бы, не погибло, не разбилось, как эта витрина. И когда вдруг появилось то простое, сильное и прочное, которое одно только и могло поддерживать разрушающуюся жизнь, Владик понял: он должен быть с ними.

Тяжело стуча сапогами по замерзшей мостовой, подбежали двое военных: командир в голубой фуражке и боец.

— Обрывайся, НКВД! — крикнул кто-то.

Но толпа не разбежалась.

— А чего вы командуете? — спросил у командира тот знакомый человек, улыбаясь хитро и несколько ви-

новато, словно его застали за каким-то делом, официально предосудительным, но вообще обычным между людьми. — Приказано выдавать продукты на месяц, а магазин закрыт. Все сбежали. Хотите немцам оставить? Вы не командуйте. На фронт идите командовать.

Владик узнал дядю Жору и снова затрясся в болезненном ознобе. Ему показалось, что дикая злобная сила растопчет сейчас этих двух прекрасных людей в серых шинелях. Толпа стояла молча, но по лицам людей было видно, что они вот-вот закричат, заспорят, поддерживая Жору.

Владик стоял в нескольких шагах и заметил, как боец оглянулся и что-то шепнул своему командиру. Тот расстегнул верхнюю пуговицу шинели и вытащил бумагу в прозрачно-желтой целлулоидной обложке.

— Вот приказ, — сказал он. — Согласно этому приказу моему батальону вверена полная власть в районе с правом суда над бандитами и с правом приведения приговора в исполнение.

Подняв бумагу выше головы, командир показал ее тем, кто стоял ближе. У него было круглое румяное лицо, и из-за нахмуренных бровей и сжатых губ казалось, что он притворяется сердитым.

Когда вновь раздался топот сапог, теперь уже многих, Владик подумал, что командир специально оттягивал время, показывая документ этим людям. Красноармейцы с автоматами окружили толпу, притискивая ее к магазину. Мимо Владика они пробежали, оставив его на краю тротуара вне оцепления. Значит, поняли, что он не мог быть с теми, кто грабит.

— Кто бил витрины? — спросил командир.

Владик почувствовал, что невыносимая изнурительная дрожь, сотрясающая все его тело, может прекратиться, только выплеснувшись в необходимом поступке.

— Это он! Он! — крикнул Владик нервно срывающимся голосом. — Я видел. Это он!

— Ты что? — спросил дядя Жора, продолжая улыбаться, но теперь уже испуганно. — Ты же меня знаешь.

— Он и бил,—сказала женщина, обвязанная теплым платком.— Взбулгачил всех, а народ-дурак и полез.

— Арестовать и предать суду, — сказал командир. — Сержант Яковлев, организуйте охрану магазина и возвращение продуктов.

Жору взяли под руки двое красноармейцев и повели куда-то через улицу. Он не сопротивлялся и больше не спорил. Только посмотрел на Владика, хотел что-то сказать, но лишь улыбнулся криво.

Мать была дома. Увидев, как Владик вошел в комнату и остановился, наклонив голову и глядя в пол, она все поняла и закричала:

— Нет! Я не пущу тебя! Не пущу!

Она кинулась к двери, торопливо щелкнула ключом внутреннего замка и, куда-то запрятав ключ, стала перед сыном, прижала руки к груди. Лицо у нее почернело.

— Ты не пойдешь туда, мой сыночек, — говорила она. — Мой маленький. У тебя слабые глаза. Мы будем жить здесь вдвоем так тихо и хорошо, как прежде. По вечерам будем слушать радио и читать вслух. Помнишь, сыночек? Ты же еще маленький. Разве я могу пустить тебя одного?

— Мама! Последний коммунистический отряд выходит через час.

Он обнял мать и она, плача, прижалась к его груди.

— Сыночек, — невнятно говорила она сквозь слезы. — А как же я? Ну что же мне делать? Ну куда? Зачем? Нет! Не пущу!

Она оторвалась от Владика и стала у двери.

— Мама, если я выпрыгну с третьего этажа, то обязательно разобьюсь. В общем, я возьму рюкзак и чего-нибудь поесть. Ну, хватит тебе. Медосмотр я прошел. Там всех признают годными за исключением тех, у кого нет головы. Немцы тоже почти все в очках.

Мать, шатаясь и тяжело дыша, открыла буфет, стала искать там что-то. Больше она не сказала ни слова.

— Давай, мама, заведем что-нибудь на дорогу.

Мать молча собирала рюкзак.

Владик открыл патефон, закрутился черный блестящий диск с дорожкой света, похожей на лунную, и зазвучало танго, тревожное и наивно-сентиментальное танго «Брызги шампанского», под мелодию которого целое поколение мальчиков училось танцевать, и уходило сражаться, побеждать и умирать.

— Если зайдет Маша Самаркина, помнишь, блондинка, скажи ей... В общем скажи ей, чтобы не обижалась на меня. Я хорошо к ней относился! Ну и отцу напиши....

— Сыночек!

— Все, мама. До свидания.

Владик поцеловал мать и, стараясь не смотреть на ее черное распухшее лицо, быстро вышел. Он знал, что она упадет на диван и будет долго лежать неподвижно, спрятав лицо в подушку. Так было, когда ушел на фронт отец.

Батальон собирался в школе, где совсем недавно по солнечным коридорам ходили под руку прекрасные старшеклассницы, притворявшиеся спокойными и серьезными, с визгом носились малыши; и степенные ребята, толпясь возле окон, обсуждали шансы «Спартака».

Собирались в подвале, в котором Владик никогда не был — только там можно было зажигать свет.

— Томилин Владлен? — спросил комиссар. — Наверное, двадцать четвертого года рождения? Помню, помню тот год. И тот январь. Комсомолец?

— Комсорг курса.

— А как же очки?

— Я сдавал на Ворошиловского стрелка. Немцы тоже все в очках.

Усталое морщинистое лицо комиссара было задумчиво-хитроватым, словно ему задали задачу и он не знает, как к ней подойти, но притворяется, что запросто может ее решить.

Владик вспомнил, что несколько раз встречал его в очереди у газетного киоска — уже с сентября тридцать девятого купить свежую газету было трудной ежедневной задачей. Как-то этим летом, в июле или августе, когда в газетах чуть ли не каждый день появлялись новые направления боев и перечислялись оставленные города, этот человек, ставший теперь комиссаром, смял газету и зашагал прямо через газон на мостовую, словно слепой. Паренек, который был с ним, остановил его, успокоил и потом тихо объяснил Владику, что Василий Семенович бывает «не в себе» и ненавидит немцев, потому что в восемнадцатом году его немцы расстреливали.

Резко открылась дверь, и вошел высокий сутулый

человек в шинелн и папахе. По его решнтельным шагам и по тому, как подиялся ему навстречу комиссар, было понятно, что это командир отряда.

Вот тогда Владнк действнтельно почувствовал тревожный предупреждающий укол в сердце, потому что командир смотрел на иего н иа других бойцов не как на обычных людей — друзей, знакомых, незиакомых, а как на тех, кого должен вести в бой и на смерть. И он подумал, что не вернется оттуда, потому что на тех, кто должен вернуться, так не смотрят.

Батальои постронлн в большом дворе какнх-то казарм, где получалн карабнны. Онн стоялн лнцом к машннам, которые должны былн везтн нх на фронт.

Командир н комиссар стали возле переднего грузовнка, пользуясь сннным светом его фары. Над ними в черном небе голубые лучн прожекторов вынскнвалн иемецкне самолеты, раскачнваясь н пересекаясь.

Негромкий домашннй голос комнссара, отражаясь от каменных стен, звучал неожнданно громко н взволиованно. Он говорнл о решенни партнйиого актнва Москвы от трннадцатого октября, согласно которому создаются коммуннстическне роты и батальоны, о том, что тысячн москвнчей вчера и сегодня уже вышли иавстречу врагу н защищают подступы к столнце, о том, что их лозунг: «Отстонм родную Москву».

После комнссара иесколько решающих слов сказал командир:

— Наш батальон получнл задачу направнться на уснленне частей Красиой Армии, ведущнх бон на Можайской лнннн обороиы. Выступаем немедленно. Кто ие умеет обращаться с оружием, кто не может по какой-либо причнне идти в бой, два шага вперед шагом марш!

Из строя не вышел ннкто.

— Боец Томнлнн, ко мне!

Владик вышел нз строя, иеровным робким шагом подошел к командиру н сказал:

— Вот... Я Томнлнн.

— Вы что? Не зиаете, как подходят к командиру? Военную подготовку проходнлн?

— Товарнщ командир! Боец Томнлни прнбыл.

В тусклом синем свете фар грузовика Владик заметил, что командир смотрит на него изучающе внимательно, не так, как обычно человек смотрит на человека. Врач так смотрит, оценивая, выдержит ли больной операцию.

— Мы решили назначить вас помощником комиссара — комсоргом батальона. Будет время — проведем собрание. Главная комсомольская работа — бить немцев. И беречь оружие.

Так определилось место Владлена Томилина.

Он ехал на первой машине, стоял в кузове впереди, опершись о крышу кабины.

Небо Москвы провожало их великолепной иллюминацией, похожей на праздничную. Расширяющиеся ярко-голубые столбы прожекторов нервными рывками шарили в черной вышине, высвечивая дымные полосы облаков, и вдруг замирали, сойдясь в одной точке и выдавив из темноты выпуклую сверкающую птичку. Круглые желтые вспышки разрывов мгновенными пламенными блестками рассыпались вокруг самолета. Разноцветные трассы — зеленые, красные, желтые — светящимися движущимися нитями разрисовывали небо, направляясь к той же таинственной точке, где блестело чужеродное тело пойманного прожекторами «юнкерса». Местами светились небольшие по сравнению с огромным темным небом пятна пожаров, малиновые внизу и желтеющие кверху.

Когда выехали на шоссе и высокие дома закончились, открыв еще много черного неба, почувствовался холод. Ветра не было, но машины шли быстро, и воздух морозным потоком обвевал лицо и студил грудь под ватной телогрейкой. Надо было не лезть вперед — в середине кузова, в толпе теплее.

Машины все шли и шли по шоссе на запад, оставляя сзади огни московского неба; темно-синие снежные поля стелились вокруг; длинными пятнами темнели деревни, мертвые, без единого звука и огонька, впереди все сильнее и сильнее разгоралась алая дрожащая заря приближающегося фронта. Оттуда навстречу колонне тоже шли автомобили: грузовые, легковые, санитарные. Синяя цепочка фар тянулась по шоссе.

Неожиданно услышали близкие гулкие пронзительные выстрелы, и в темной щетине леса впереди замель-

кали вспышки. Машина остановилась, и из кабины вышел командир.

— Вот она война, мать родна, — сказал кто-то.

— Стреляют, товарищ командир, — встревоженно доложил командир взвода Голубев.

— А ты думал, на фронте патефоны играют? — сказал командир и выругался. — Это ведет огонь наша артиллерия.

Не страшно, а трудно было потом, когда пришлось быстро, почти бегом, двигаться по разбитой дороге, спотыкаясь о замерзшие комья грязи, проваливаясь в глубокие неровные колеи.

Противогаз бился на боку, съезжая на живот, карабин острым жестким ребром вдавливался в спину. Хотелось остановиться и крикнуть комиссару: «Зачем вы мучаете нас? Мы добровольно пришли защищать Москву, а не для того, чтобы вы гоняли нас ночью по дорогам!» Но комсорг Владлен Томилин должен бежать, не отставая, задыхаясь, и еще покрикивать: «Давайте, давайте, ребята!»

— Ты меня не агитируй, — отвечали ему. — Я человек рабочий...

И грубо ругались.

Незабываемо страшным был момент, когда желтые вспышки ракет оказались совсем близко — даже треск их разрывов стал слышен, и Владик ждал, что сейчас наконец они будут на фронте с окопами, с красноармейцами, с телефонами, а сопровождавший их сержант-фронтовик сказал:

— Кажись, успели. Здесь надо оборону занимать. Фрицы там — ракеты пуляют.

Значит, вот он какой фронт: пустое снежное поле, испятнанное и исполосованное, с той стороны немцы, а здесь Владик с товарищами и за ними Москва, Россия.

Черные пятна на снегу — это наверное воронки от бомб или снарядов. Были еще и другие пятна, посветлее.

— Похоже, что шинели валяются, — сказал Владик подошедшему бойцу. — Ты хорошо видишь? Что это там?

— Да. Шинели валяются, а в шинелях наши братья славяне. Отвоевались.

Тогда он заметил и разбитую пушку. Она лежала на боку вверх колесами. Большое старинное колесо с железным ободком вместо шины.

Еще некоторое время было страшно, пока лежали у противотанкового рва на мерзлых комьях глины, припорошенных снегом, пытаясь устроиться, чтобы не так холодно и больно было ногам и чтобы не сваливался карабин.

Страх и одиночество исчезли, когда из деревни, темнеющей на той стороне поля, появились немцы. Они, наверное, не хотели покидать тропинку и шли не цепью, а беспорядочной растянутой гурьбой. Их редкие фигурки медленно покачивались на снегу.

— Стрелять по команде, — крикнул командир, но его или не услышали, или не поняли.

Грохнул чей-то первый выстрел и вдоль бруствера замелькали вспышки и затрещали карабины.

Владик прицелился в отдельную фигурку, темнеющую на снегу, нажал спусковой крючок и почувствовал удар приклада в плечо и резкий звуковой удар в правое ухо. Фигурка упала. Владик не подумал, что немец мог просто залечь. Он решил, что, оказывается, это очень просто: прицелился, выстрелил — и фашист падает; щелчок затвора — и дымящаяся гильза на снегу; снова прицелился и выстрелил... Над полем поплыли запахи пороха и горячего оружия! И ничего страшного не было в том, что темная даль мигала и стрекотала длинными автоматными очередями: не могли же фашисты убить Владика, а откуда берутся твердые комочки земли, словно бросаемые кем-то и бьющие по спине, по рукам, по карабину, он поначалу не догадался. Даже первый крик смертельно раненного не испугал Владика. Это погиб Голубев, их командир взвода. Он потом видел его труп — лицо, застывшее в яростной гримасе, и темная лужа, растекающаяся из-под тяжело вдавленного в снег тела.

В первый раз недолго пришлось стрелять — немцы исчезли, ракеты перестали вспыхивать, впереди над лесом и деревней, прижавшейся к нему, появилась дрожащая зелено-белая звезда.

Вскоре бой возобновился в нескольких местах и не прекращался до рассвета...

Только утром немцы переступили рубеж, защищав-

шийся людьми в невоенных пальто и ватных бушлатах. Сами эти люди остались лежать здесь окровавленные, умирающие, умершие. Ни один из них не отступил, ни один не сдался. Немцев удивляло, что всю ночь их натиск сдерживали, оказывается, не армейские части, а какие-то фанатики-партизаны. Знаменитый генерал, командовавший армией, предназначенной для взятия Москвы, тоже подъехал сюда и удивлялся. Ему представилось, что вся русская армия уже разгромлена и остались лишь разрозненные отряды таких вот фанатиков. Генерал был бодр и весел. Он подражал наполеоновскому маршалу Нею и в любой боевой обстановке рано ложился спать и рано вставал и не боялся выезжать на самый передний край в сопровождении охраны и походной кухни. Солдаты охраны, выспавшиеся и веселые, грызли семечки, смеялись, переговаривались о чем-то на своем отвратительном каркающем языке. Один солдат, румяный и улыбающийся, заметив, что Владик, распластавшийся ничком на окровавленном снегу, пошевелился, подошел к нему, перебрасывая автомат на грудь.

Владик повернул голову и увидел солнце. Настоящее солнце спокойно поднималось с той стороны, где осталась Москва. Ярко-оранжевое широкое пятно над горизонтом, окруженное бледно-малиновым сиянием. Разве может солнце освещать такое?

А от солнца шли густые цепи крупнолицых широкоплечих парней в оранжево-белых полушубках, голубых шапках с красными звездами, с черными дисками автоматов на груди.

Это было 17 октября, в пятницу, в день семинара по философии.

Решение за рекой

О том, что в системе ие хватило усилеиия, Клеткин сказал просто и иебрежио, будто сообщил о какой-ии-будь пустяковой ошибке в моитаже. Его слова прозвучали так же страиио, как если бы слова: «Я заболел раком» — ои произиес тоиом: «Я оцарапал палец».

Он вел машиину. Не ту машиину, которая, по миению сидящего рядом Вересова, в будущем сможет заменить человека, а обыкиовеииую «Волгу» личиого пользования, цвета морской волиы. Кремовые шторки с помпонами, кукла-талисмаи болтается под передним стеклом.

Ои любил вести машиину и ие иаходил иичего страшиого в сообщеиии о том, что усилеиия ие хватает. И вообще ии в чем ие иаходил иичего страшиого. Тем более что сзади сидела Ириια, а рядом — доброжелательный иачальиик, Аиатолий Алексаидрович Вересов, который, коиечио, иайдет способ увеличить усилеиие.

И солице попутио светило откуда-то сзади, мягко подкрашивая бескоиечиый полыиио-подсолиечный пейзаж.

А впереди — Чериое море, рестораны, пляжи. Отпуск.

— Да, Аиатолий, я забыл тебе сказать в суматохе. В последиий деиь перед отъездом мы проверяли усиление и иедосчитались почти двадцать децибел. И опять геиерил на одиой частотке. Придется после отпуска подумать.

Вересова удивил только тои, которым Клеткии это сказал. Неужели Клеткии ие понимает ситуации, не понимает, что теперь работа снова задержится иа недели, а может быть, и иа месяцы?

Личную неудачу Вересова Клеткин понял. И его жена поняла. Поэтому они и взяли его с собой на юг. И впереди посадили, чтобы он видел только этот сине-серый асфальт и пыльно-зеленую степь, чтобы это скорее успокоило его.

А того, что недостаток усиления грозит едва ли не катастрофой, Клеткин не понял. Неужели он не знает, что в резерве нет уже ни одного грамма веса, ни одного ватта мощности и, значит, повысить усиление хотя бы на один децибел невозможно? Ведь если не хватает усиления, то не будет обеспечена заданная стабильность, ошибка превзойдет допустимую и... В общем, придется изощряться. Придется снова искать решение. Снова нервы и бессонные ночи.

«После отпуска придется подумать». Как будто сейчас можно не думать.

— Боря, ты обещал показать Дон, — сказала Ирина.

— Сейчас свернем на проселок, переночуем в какой-нибудь шолоховской глуши, а утром — на Дону.

И жизнь Вересова сворачивает на проселок в глушь.

А сначала все было хорошо, гладко и логично, как этот синий прямой асфальт. В двадцать два — диплом, в двадцать шесть — диссертация, в тридцать — руководитель научного отдела. Этот последний этап мог закончиться быстрее чем за четыре года, но здесь, в основном, помешала женитьба. И ученые пенсионеры долго мешали, пока не вдолбил им, что это действительно нужно сделать. Он все-таки сумел их убедить, потому что сам был твердо убежден в том, что если что-то можно сделать, то это мог сделать именно он.

В тридцать казалось, что теперь жизнь не пройдет даром, что и он принят в священный орден физиков, что и его следы останутся «на пыльных тропинках далеких планет».

Казалось, можно было быть спокойным. То есть спокойно отдаваться беспокойной деятельности руководителя научного отдела.

Он верил, что может выполнить задание. Не потому верил, что считал себя очень талантливым. Такие понятия он всегда считал чепухой. Еще в детстве, когда при желании мог выучить урок не хуже любого отличника.

Это невежественые недоучки — журналисты придумали, что наука развивается лишь благодаря отдельным гениальным личностям. Очевидно, для собственного успокоения они придумали такую нелепую дешевую сказку. Чтобы оправдать свое бесполезное мотыльковое существование — «мы не гении, потому и пишем всякую чушь».

Каждый может все, что может другой. Нужно только захотеть по-настоящему, нужно работать, учиться, не жалеть сил и времени.

И он хотел, работал, учился, не жалел. И не смог.

Не смог?

Нет. В принципе задача давно решена, а недостаток усиления он компенсирует. Просто он не в форме сейчас. Устал от всей этой передряги. Теперь он отдохнет и во всем спокойно разберется. Уже сейчас он чувствует себя лучше, чем в Москве. Теплый пахучий ветер быстро проветривает мозги.

Тщательный анализ и точный расчет — вот что нужно. И зеленая звезда перестанет насмешливо подмигивать по вечерам.

Если бы не произошло всего того, что произошло!

Пожалуй, все началось в тот день, когда в отделе было намечено мероприятие — предмайский праздничный вечер. Или, вернее, накануне утром. Тогда было по-апрельски серо и дождливо.

Он сказал жене:

— Светлана, ты не забыла, что мы завтра идем на вечер?

Она поставила чашку с кофе и ошеломленно посмотрела на мужа. Он так и не научился выносить этот ее взгляд — какой-то ускользающий, беззащитный, пугливо-дрожащий. Иногда из-за этого взгляда казалось, что глаза у нее белые.

— Не понимаю! Ведь завтра вечер поэзии в Политехническом. Я так ждала.

Анатолий Александрович спокойно объяснил, что предмайский вечер сотрудников отдела это не просто веселое развлечение вроде вечера поэтов, а важное мероприятие, помогающее сплочению коллектива, что все сотрудники придут с семьями и начальник не имеет права прийти один, что для проведения вечера снято хорошее кафе и уже распределены места за столиками.

Они будут сидеть вместе с заместителем директора института.

Светлана резко отодвинула чашку и встала. Кофейный круг в чашке заплескался, стремясь вырваться из непреклонной ограниченности. Но не вырвался. Всего несколько уменьшающихся колебаний и снова спокойная неподвижность. Вересов привычно отметил математическую сторону процесса: в дифференциальном уравнении, описывающем колебания поверхности кофе, достаточно велик коэффициент при первой производной, и поэтому велико затухание.

Движение Светланы по комнате — быстрые неровные шаги, неожиданные остановки и повороты — не выражалось известными Вересову математическими символами.

Ее дрожащий взгляд метался по комнате, ускользая от твердого и спокойного взгляда мужа.

Пятилетний Миша Вересов перестал жевать свой бублик и испуганно-удивленно смотрел на маму.

— Я должна туда пойти. Как ты не понимаешь? Это так важно для меня!

— Что важно? Стихи?

— Неужели ты не понимаешь?

— Не понимаю.

— Тогда и не поймешь.

Для Светланы, окончившей консерваторию, естественно любить искусство, но тем не менее Анатолий Александрович был возмущен такой преувеличенно нервной реакцией. Он никак не мог согласиться с какими-то истерически прыгающими словами жены, не связанными логикой определенной мысли.

Мало ли что можно захотеть? Человек должен делать не то, что хочется, а то, что нужно. Он тоже, например, хочет... Вересов заглянул тогда в глубины своих желаний и не нашел ничего, что конкурировало бы с желанием хорошо провести мероприятие в отделе. Он был организованным человеком.

— Из-за каких-то жалких недоучек-поэтов, — сказал Анатолий Александрович. — Современная электронная машина рифмует гораздо лучше, чем все твои щелкоперы.

Он сказал, пожалуй, излишне зло. Светлана остановилась, посмотрела на него странно, даже страшно,

чуть ли не с ненавистью. Потом повернулась и вышла, хлопнув дверью.

Миша заплакал:

— Куда мама ушла?

Анатолий Александрович успокаивающе погладил его по белой шелковой головке, затем вышел вслед за женой, медленно, твердо и спокойно взял ее за руку и сказал твердо и спокойно:

— Светлана, я редко настаиваю на чем-нибудь...

Она презрительно шевельнула губами («театрально» — подумал Анатолий Александрович).

— ...Но сейчас я прошу, чтобы ты поступила так, как нужно. Ты должна пойти со мной. Ты должна мне помочь. Моя работа нужна нам обоим. Я прошу тебя, Светлана.

— Хорошо, хорошо, только пусти меня, пожалуйста, — сказала она, высвобождая руку.

Светлана была неорганизованным человеком.

Он это понял сразу после женитьбы. И тогда же узнал, что глаза у Светланы могут становиться зелеными.

Как-то он пришел с работы усталый и голодный, а Светлана лежала на тахте, и ее дрожащий взгляд блуждал по каким-то далям. На ковре валялась книга.

— Ты знаешь, я ничего не готовила сегодня. Меня так потрясла эта книга... Сходи купи чего-нибудь.

У нее в тот день не было занятий, и она целый день пролежала на тахте, потрясенная книгой!

Он поднял книгу. Не столько для того, чтобы выяснить, что это за книга, сколько для порядка — нельзя, чтобы книга валялась на полу. Оказалось, что это всего-навсего Стефан Цвейг! Сентиментальное чтиво для четырнадцатилетних девочек!

Тогда он твердо и спокойно высказал Светлане свое возмущение.

А она презрительно шевельнула губами.

И глаза у нее стали зеленые.

— Какая дрянная дорога, — сказала Ирина, когда «Волга» подпрыгнула на какой-то канавке.

— Ничего ие поделаешь, Ирииочка, — сказал Борис Клеткин. — Это ие Садовое кольцо. Зато завтра зачерпием шеломами сииего Доиа. Еще чуток проедем и стаием иа отдых. Дело к вечеру. Да, Аиатолий?

— Вечер? Какой вечер? — переспросил Вересов. — Да, вечер был хороший.

Предмайский вечер действительио прошел иеплохо. Лучше, чем в других отделах, как сказал заместитель директора ииститута. Все было сделано иа уровие: и таицы, и радиогазета, и лотерея, и музыка.

Но в общем-то и тогда все шло ие так, как иадо.

После утреиией ссоры с жеиой следующим сигналом иачииающихся иеудач был разговор с Клеткииым. Кстати, тогда и возиикла проблема усиления, потому что Клеткин сказал, что усилитель возбуждается — «геиерит» (Клеткин любил жаргои).

Вересов ответил ему тогда твердо и спокойно (а хотелось кричать):

— А вы, уважаемый Борис Иваныч, иайдите причииу возбуждения и устраните ее. А я приду и проверю.

Клеткии осекся и замолчал. Он ждал ие выговора, а советов и указаиий. Вообще, ои хороший парень, этот Клеткии, ио ему еще иедостает опыта. Не смог он сам справиться с усилителем.

Поэтому пришлось вызвать Лукаиова.

Всего иесколько месяцев работал в иииституте страииый, иепохожий иа других Лукаиов. Одевался иебрежио, в какие-то иеподходящие пиджаки. Говорил с каким-то акцеитом. Посмотришь на него — ие иаучиый сотрудиик, а делегат из далекого колхоза. И вести себя не умел. Вместо того чтобы прииять к руководству указаиия Вересова, иагло заявил, что ие хочет работать с Клеткииым над усилителем, потому что должеи довести до конца свой расчет, потому что у него там, видите ли, открываются какие-то новые важные закоиомериости...

— Кстати об усилении, — сказал Вересов. — Лукаиов тогда рассчитывал систему как-то по-своему.

— Лукаиов — подоиок, — сказал Клеткин. — Что ои там рассчитывал, этот подоиок!.. Посмотри, Ириика,

живые шашлыки, — впереди блеяло стадо овец. — Только окно скорей закрой, а то здесь они пахнут не так приятно, как в шашлычной на Арбате.

Разговор с Лукановым был тяжелый и не кончился ничем.

Развалился в кресле и нагло улыбался: «Я не буду делать то, что не хочу!»

В тот день с неумолимой последовательностью начали возникать препятствия, противоречия, мешающие нелепости. После демагога Луканова снова пришел Клеткин и робко напомнил, что по плану намечен диспут на тему: «Может ли машина заменить человека?» Кончался апрель, и нужно было успеть провести все мероприятия.

Диспут был организован хорошо. Солидное сообщение Клеткина (он прочитал и законспектировал уйму литературы, и вообще он знал все, кроме того, что ему нужно было знать как инженеру), внимательные, заинтересованные сотрудники, фотограф из журнала, спор, в меру горячий, и четкое категорическое выступление руководителя отдела Вересова под занавес:

— Таким образом, вопроса о том, может ли машина заменить человека, уже нет. Потому что нет разницы между высокоорганизованной кибернетической машиной и человеком. Здесь говорили, что нельзя мыслить вне мозга. Да, человек не может мыслить без мозга, но может создать мозг, который будет мыслить без человека. Нет предела человеческому познанию!

Это был эффектный конец диспута, и фотограф (бывалый человек) уже собрал аппаратуру, но неопытный Клеткин, вместо того чтобы закрыть дискуссию, забормотал свое: «Может быть, кто-нибудь что-нибудь...»

И поднялся Луканов:

— Шо касается данного, — он говорил с придыхательным «г»—«даннохго»— вопроса, может ли машина заменить человека, то я скажу так: смотря какого человека. Как Анатолий Александрович рассматривает, что его может заменить, то, значит, пусть его и заменяет. А шо касается меня, то я не согласен.

— А ты не знаешь, Борис, куда уехал Луканов?

— Не знаю, Анатолий, куда уехал этот тип.

Надо было вообще не пускать на вечер Луканова, потому что он пришел туда уже пьяным. И вообще он уже не был тогда сотрудником института — утром Луланов подал заявление об увольнении, и Вересов попросил отдел кадров, чтобы его оформили без обычных двух недель. Может быть, Луканов потому и был пьян? Раньше он вообще не пил. На него даже обижались за то, что никогда не поддерживает компании.

На вечере Луканов подходил к столу, за которым сидела молодежь (техники со своими девушками), кричал: «Ну шо, хлопцы, докажем, что мы не машины!» — и пил рюмку за рюмкой.

Анатолий Александрович спросил жену:

— Не очень противно было с пьяным танцевать?

Светлана посмотрела как-то испуганно, потом нехорошо засмеялась и сказала:

— А разве он пьяный? Я сама пьяная.

Она выпила две рюмки коньяка.

Сам Анатолий Александрович выпил три рюмки и был совершенно трезв. Когда не нужно было разговаривать с соседями по столику, он думал о том, что в системе может не хватить усиления. В такси, когда ехали домой и Светлана прильнула к нему, он, обнимая ее, снова думал о системе, об усилении.

Дома он сразу же сел за письменный стол. Желто-зеленый круг света настольной лампы, выделившей белый лист бумаги на столе, как-то успокоил.

Светлана, уже в халате, подошла к нему и, обняв за плечи, заглянула в его работу.

— Схему нужно обсчитать, — сказал Вересов и сделал легкое отстраняющее движение плечами.

Она не обратила внимание на это движение и отошла спокойно, не обидевшись. Ее волновало то, что происходит с ней самой, с ее чувствами и мыслями.

Она ходила по комнате, заложив руки в карман незастегнутого халата. Полы халата развевались, обнажая высокие ноги, розовое тело, едва прикрытое шелковым бельем. Прищуривая глаза, будто вспоминая что-то, она говорила:

— Ты рад, что я пошла с тобой? А в Политехническом было интересно сегодня. Политехнический, Политехнический! Неужели ты не понял, Толя, почему я

хотела пойти с тобой в Политехнический именно сегодня? Неужели ты забыл, что мы встретились с тобой в Политехническом ровно шесть лет назад! Эх ты, физик.

Она улыбнулась печально и сочувственно. Будто, так уж и быть, прощала ему обиду. Будто грустно иронизировала над своим наивным желанием отметить юбилей. Будто предупреждала, что эту обиду она все-таки не может забыть.

У Анатолия Александровича в записной книжке были аккуратно переписаны все важные семейные даты. И день свадьбы, и дни рождения. Не было случая, чтобы он забыл организовать соответствующее дате мероприятие. Но день знакомства?

Он не считал эту дату памятной (а разве кто-нибудь, кроме Светланы, считает?) и, честно говоря, он не помнил, какой тогда был день. То, что они познакомились в Политехническом музее, он помнил. И если уж говорить о памяти, то он даже помнит, какая тогда была там лекция — о философском смысле понятия материи.

Он прекрасно помнит этот вечер. Тогда, войдя в аудиторию, он сразу увидел, что среди блестящих голых черепов, желтых лиц, темных костюмов, цветет и светится нечто совершенно другое, отличное от них, явившееся в зал из какого-то другого мира. Отдельно, отодвинувшись от серьезных соседей по полукруглой скамье, сидела девушка в ярко-алом платье. У нее были светлые блестящие глаза, тонкое нежное лицо и коротко подстриженные пепельные волосы, причесанные с красивой небрежностью.

Он уверенно, не задумываясь, сел рядом с девушкой, несмотря на то что в зале было много свободных мест. Он сделал это почти бессознательно, как если бы гулял по парку, думая о чем-то, и присел на скамейку там, где было больше тени и цветов.

Он посмотрел на девушку. Ее взгляд, встретившись с ним, испуганно задрожал. Она потупилась, покраснела и появлению лектора обрадовалась как помощи.

Лектор вышел собранный, готовый к борьбе, заранее презирающий тех, кто не согласится с ним. Едва он начал говорить о квантах и спинах, девушка спохватилась:

— Как же так? Ведь должна быть лекция о Шопене.

— О Шопене в другом зале. Но здесь интереснее. Шопен оперировал только в ничтожно малом звуковом диапазоне частот, а здесь вам расскажут о мире бесконечностей.

Он не знал, что именно Шопен в ничтожном звуковом диапазоне частот пробуждал у девушки бесконечный мир мыслей и чувств.

— Я бы, конечно, осталась, но...

Они договорились, что она пойдет все-таки слушать о Шопене, а после лекции они встретятся.

И еще она успела сказать ему, что зовут ее Светлана.

— Нет, я, конечно, помню, — сказал Анатолий Александрович жене. — Но мне нужно...

— Да, да, тебе нужно, — она снова печально улыбнулась, и опять заметался по комнате халат, засветилось ее тело. — Так все-таки, «если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?», а, Анатолий? Скажи, а ты знаешь такие стихи:

Спнт ковыль, равннна дорогая
И свинцовой свежести полынь...

Знаешь? Скажи, а этот... с которым я танцевала, он тоже сейчас рассчитывает схему?

— Прости, Светлана, но ты мне очень мешаешь. Мне нужно поработать.

— Что?

Она остановилась рядом, смотрела на него сбоку; и он чувствовал, как что-то пронзительно-горячее сверлило его левую щеку. (Привычно подумал о невыясненной до сих пор природе телепатических излучений.)

Анатолий Александрович аккуратно, чтобы не испачкать бумагу, положил авторучку, откинулся на стуле и твердо и спокойно посмотрел на жену. Ее глаза сверкали и жгли. Раздражал распахнутый халат.

— Я тебе не нужна? Я тебе мешаю?

— Хочешь поссориться?

— Тебе не нужна любовь. Неужели ты не понимаешь, как это важно, как это много — любовь? Ты видел, как любят друг друга Ирина и Борис? Они в тысячу раз умнее тебя, хоть ты и кандидат, и начальник,

Они знают, что любовь нужно беречь. Любовь тонка и нежна. А ты?

— Я человек, а не голубь!

— Ты человек?

Прищурила свои зеленые глаза, шевельнула губами презрительно и ушла в спальню.

Анатолий Александрович еще не успел успокоиться и сидел, откинувшись на стуле, когда она снова вошла. Халат теперь был наглухо застегнут.

Светлана молча и решительно села за пианино. Она могла себе позволить играть ночью — Миша ночевал у ее матери.

Первые аккорды грозно предупредили о чем-то неумолимом и решающем, сразу же звонко рассыпались откровенно печальными верхними звуками. Жалобно и звонко, все тоньше и выше, все печальнее. Грустной иронией прозвучала иллюзорная попытка легкой и светлой мелодии. Мгновенно обрушились на нее каскады грозной печали, и больше не было просвета. Музыка прощалась, боролась, проклинала! Или это ураганный шторм разбивался о скалы? Или кто-то уходил навсегда, на смерть? Казалось, невозможно сделать эти звуки еще сильнее, еще печальнее, еще грознее. Но Светлана бросала пальцы на клавиши, и музыка становилась еще сильнее и трагичнее. Казалось, звуки не могут больше, они сейчас разорвутся и рассыпятся, и тогда сердце разорвется вместе с ними.

И когда это грозное отчаяние достигло предела и должно было неминуемо привести к катастрофе, музыка прекратилась. Именно прекратилась, а не исчезла. Она осталась в комнате: в коврах, в стенах, в мертво-желтом свете настольной лампы, в тусклой полировке пианино.

Он тогда еще подумал, что эти страшные аккорды никогда уже не уйдут отсюда. И сейчас каждое воспоминание о той московской квартире и о письменном столе с зеленой лампой захлестывается набегающим прибоем звуков.

— Что ты играла? Я никогда не слышал этого.

— Это просто этюд Скрябина. Его нельзя играть каждый день.

— А когда это можно играть?

— В некоторых специальных случаях. Например, се-

годня. Я иду спать. Спокойной ночи. Прошу меня не будить. Я устала.

— А, Анатолий? — спрашивал о чем-то Клеткин.

— Где-нибудь на окраине, — сказала Ирина. — Поближе к степи. Чтобы полынью пахло.

— В том крайнем домике, а, Анатолий? — спрашивал Клеткин.

Машина медленно двигалась по широкому бело-зеленому селу. Там, где сады редели, мелькало еще и желтое — подсолнухи.

Вересов пожал плечами — ему все равно, где отдыхать.

Потом спохватился:

— Желательно, наличие электричества. Хочу поработать вечером. (Надо же было что-то делать с системой.)

«Волгу» цвета морской волны поставили в тесном дворике: Клеткин любил, чтобы машина стояла под окнами дома, в котором он спит.

Перед сном долго ужинали. Грузная ширококостная старуха хозяйка угощала молоком, свежим жидким медом, помидорами, вишнями, ледяной водой из своего колодца (вода была безвкусная как дистиллированная). Борис Клеткин покопался в багажнике машины и щедро разложил плоды московских урожаев: копченую колбасу, сыр, маслины, печенье.

Ирина красиво пила молоко, Борис и хозяйка налегали на колбасу, а хозяйкина белоголовая внучка с неожиданным восторгом ела маслины, и ее синие глазенки жмурились от острого наслаждения. Хозяйка тоже попробовала черно-бурую влажную ягоду и заплевалась:

— Ты, Райкя, (она так говорила — «Райкя») как не наша, — и пожаловалась Вересову, — черт-те чего исть.

Вересов не столько ел, сколько смотрел на девочку. Она вся была бело-синяя, потому что платьице ее выгорело под степным солнцем, и глаза, и пушистые волосы тоже будто выгорели. Наверно, только здесь, в Донских степях, бывают такие глаза. Только здесь мог появиться и художник, который написал о таких глазах: «Светлые, как небушко».

Вересов мало читал, но того автора знал, потому что писатель был из тех, кто впереди.

Ирина гладила девочку по пушистой светлой головке и спрашивала:

— Кем же ты будешь, Раечка, когда вырастешь?

— А у поли робить буду. У колхози.

— Куда же ты сейчас ходила?

— А там чиличенок под хатой живет. Хлиба ему носила.

— Какой чиличенок?

— Ну махонький такой горобчик.

— Горобчик — значит: воробей, — объяснил Клеткин. — Первобытный фольклор.

Волосы у девочки были подстрижены коротко, как стригут мальчишек. Стригли небрежно, неумело, а получалась неожиданно красивая модная короткая прическа. Из-за такой прически в Москве женщины часами стоят в очередях в парикмахерских.

У Миши Вересова тоже пушистые волосы. Только потемнее.

Миша сразу кинулся навстречу, когда Анатолий Александрович приехал после майских праздников к теще. Он взял сына на руки и прижался к этим нежно-пушистым волосам.

— Папа, папа, — говорил Миша. — Ты знаешь, какой мне сон сегодня приснился? Как будто подошел ко мне слон и стал жевать подушку, а потом начал жевать мои уши. Большой такой слон. С хоботом. Жует мои уши, а я лежу и думаю, как это он мне уши жует, а мне не больно.

Теща встретила его тогда заплаканными глазами и тяжелыми вздохами. Светлана уводила взгляд в сторону и непреклонно молчала.

— Не хочет ехать домой, — сказала теща и всхлипнула. — Ох, господи-и.

— Мне нечего ехать туда, где я не нужна, — нервно ответила Светлана. — Мы останемся здесь. Да, сыночек?

— Нет, я хочу с папой. И с тобой. Хочу со всеми!

Теща повела мальчика в другую комнату, но Анатолий Александрович остановил ее и сказал твердо и спокойно:

— Сейчас мы все поедем домой. Я считаю нецелесообразным обсуждать нелепости, которые ты высказываешь, Светлана. У ребенка есть дом и отец, и никто не имеет права лишать его этого. Из-за чего? Из-за того, что кто-то не в меру разнервничался без причины? Нужно взять себя в руки и поступить разумно. Человек отличается от животного тем, что мыслит и обдумывает свои поступки.

— Я не вернусь к тебе, — сказала Светлана. — Я не нужна тебе. Я не твоя!

Анатолий Александрович заставил себя спокойно молчать, не отвечая на обычную неразбериху мыслей и слов жены.

— Я беру ребенка, — сказал он, — а ты одевайся.

— И правда, Светочка, — сказала теща. — Поссорились, помирились.

— Нет! Нет и нет! — закричала Светлана. — Уже поздно!

Потом сказала тихо и серьезно:

— У меня есть другой человек. Я была с ним.

— Ой, дочка, что ты говоришь!

Анатолий Александрович заставил себя остаться твердым и спокойным. Он не знал, что в этот момент у него дернулась левая щека и часто-часто заморгал глаз. С тех пор с ним нередко происходит это, и тогда его лицо приобретает выражение старчески жалкое.

— Хочь на ентой, на тафте ложись, — сказала хозяйка. — По-нашему, так кушетка.

Когда Клеткины ушли спать, Вересов не лег, а достал бумагу и устроился за столом.

— Я немного поработаю, — сказал он.

Хозяйка шумно укладывалась в соседней комнате за тонкой перегородкой и, позевывая, говорила:

— Смешные вы, городские. Работаем. А сами сидят пишут. Нешто это работа? Ты бы посмотрел, как мой Григорьич работает. Хату он же сам евту построил. И полы сам стелил. И колодец выкопал. И нынче в колхоз его от района погнали на хлебозаготовки. Он же у меня начальник депа, куды пошлют, туды и тилипа́. Вот он работае. А вы: работаем! Смешные...

Стол не у того окна, возле которого стояла «Волга»

цвета морской волны, а у другого — открытого в черную прохладную степь. Монотонно трещат цикады, и густые запахи трав вплывают в окно. Собачьего лая здесь не слышно. («На нее, проклятую, хлеба не напасёсси», — сказала хозяйка.)

А на столе перед Анатолием Александровичем — системы уравнений с бесконечными вопросами. Все незыблемые каноны математической физики показывали, что система должна работать, значит, он правильно нашел техническое решение. Но усиления-то не хватает. Реальная схема почему-то не хочет подчиняться дифференциальным уравнениям.

А может быть, это незнакомые душистые волны степной прохлады мешали сосредоточиться?

Утром Анатолий Александрович вышел во двор, когда Ирина, только что умывшаяся холодной колодезной водой, стояла в легком купальном костюме, распустив красно-коричневый блестящий поток волос, и подставляла утреннему солнцу плечи, спину и особенно ноги.

Девочка Рая восхищенно смотрела на нее.

— Тетя, какая вы красивая, — говорила девочка. — И волосы у вас как тветы. (Она по-донскому говорила: «Тветы».)

— Ты, деточка, вырастешь и тоже будешь красивая.

Анатолий Александрович прошел к колодцу, глядя прямо перед собой на ведро, привязанное цепью над колодцем, на бочки, налитые зацветшей водой, на мокрый истоптанный песок. С Ириной он поздоровался не глядя на нее, но блестящее солнечное тело все равно настойчиво светило ему в глаза. Вересов заставил себя не посмотреть прямо на Ирину, но при этом его левый глаз нервически задергался.

Ирине сразу расхотелось загорать. Она пошла к машине за платьем и тихо сказала мужу:

— Надоел мне твой начальник, чтоб его...

Борис промолчал.

Позавтракали легко. Хозяйка сказала:

— На Дону юшки сворите.

Клеткин объяснил, что это значило: «на Дону сварите ухи».

Вдыхая утренний степной ветерок, еще не просушенный жарой, Вересов подумал, что все-таки еще ничего

не потеряно. Человек живет не для того, чтобы делать то, что хочется, а для того, чтобы выполнять свой долг. Тот, кто не понимает этого, оказывается выброшенным из большой жизни.

Как оказался выброшенным Луканов.

Луканов пришел к нему утром на другой день после диспута. Пришел со странной просьбой о внеочередном отпуске. Это в то время, когда весь отдел напряженно работает, когда срывается наладка усилителя. Первое инстинктивное желание диктовалось неприязнью, которую нельзя было побороть никакими логическими рассуждениями. Да и не требовалось заставлять себя благоволить этому человеку. Можно было написать в левом верхнем уголке заявления четкими мелкими буквами одно слово «возражаю».

Но Анатолий Александрович подавил это обоснованное, но неприлично грубое проявление личных чувств. Облегченным вздохом пришло решение — дать этому человеку то, что он просит. Но об этом варианте можно было только подумать. Не больше. Как он правильно чувствовал, что с Лукановым больше чем с кем-нибудь другим требовалось держаться в рамках официальной справедливости.

И Анатолий Александрович сказал твердо и спокойно:

— Я попрошу вас, Леонид Петрович, указать в заявлении причины, по которым вам так необходим дополнительный отпуск.

— А шо, если мне просто надо отдохнуть?

— Правительство установило нам с вами для отдыха двадцать четыре дня.

— Так я напишу, что у меня семейные обстоятельства.

— Напишите так.

Луканов принес заявление минут через двадцать, и Анатолий Александрович снова читал и снова думал, стараясь представить, как бы он вел себя, если бы вместо Луканова в кресле перед столом сидел другой сотрудник. Представить это было трудно, но еще труднее было реализовать полученное таким способом решение. Все-таки он сказал твердо и спокойно:

— Вам нужно предварительно получить визу нашего профорга. Пусть он напишет, что не возражает.

Луканов ничего не сказал. Только посмотрел так, что снова пришлось вспомнить о невыясненной природе телепатических излучений.

Через пять минут Луканов принес заявление об увольнении из института.

Тот, кто пытался избежать железных рамок обязанностей и долга, оказался просто вышвырнутым за пределы системы.

Правда, расчет системы с пониженным усилением у этого Луканова получался...

— Чем это, извиняюсь, так пахнет? — спросила Ирина.

— Это, Ириночка, кориандр, — объяснил Борис. — Такая трава. Ее сеют специально для химической промышленности. Между прочим, ни одна скотина ее не жрет. Ни лошади, ни коровы, ни овцы, — потом, понизив голос, шутливо, Клеткин повернулся к Вересову, — а водочка кориандровая отличная.

Нужно для химии — и вместо поэтических душистых трав и шумящих хлебов поля засеяны дурно пахнущим кориандром, вызывающим отвращение у людей и у животных. Какой-нибудь здешний Луканов, наверное, возмущался и выкрикивал, что ему, видите ли, не хочется кориандра, а хочется клевера.

В жизни только так. Человечество существует лишь потому, что люди делают не то, что им хочется, а то, что надо. Того, кто пытается сойти с железных путей необходимости и долга, просто выбрасывают, как Луканова.

И как Светлану?

Какая-то необъяснимая волна беспокойства качнула вдруг четкий строй мыслей. Или эта дорога изменилась после поворота, или ветер подул другой? Такой же легкий, но более уверенный, непрерывный. И небо блеснуло впереди как-то особенно.

Захотелось отдохнуть от мыслей по крайней мере до тех пор, пока они проедут тот пушистый зеленый лесок впереди.

Испуганные машиной гуси, ковырявшиеся в дорожной пыли, захлопали крыльями, закричали и вдруг полетели над дорогой, поднявшись метров на сто вверх. Они летели уверенно, привычно, не хуже любых других птиц.

— Дикие гуси на дороге?

— Нет, — объяснил Клеткин, который знал все, кроме того, что ему следовало знать как инженеру, — здесь домашние так летают. Большая вода.

И тут же в леске, впереди, сверкнули два больших голубых осколка стекла. Еще не успели понять, что это такое, как дорога свернула влево за пригорок и пошла вниз к Дону.

Дон лежал тихий, величавый, между крутой осыпью меловой горы и низким кудряво-зеленым лесным берегом, подчеркнутым кремовой полосой песка. Дорога полого спускалась по диагонали вдоль меловой горы и упиралась в деревянную коробку паромной пристани. Паром был на другом берегу, а на пристани стоял парень и, намотав на палец леску, ловил рыбу. Когда «Волга» остановилась у пристани, парень выдернул леску, и на старых досках забарахталась круглая жирная рыбина. Он сунул ее в карман, из которого уже торчал раздвоенный рыбий хвост.

— Хороший лещик, — сказал Клеткин.

— Чебаки, — сказал парень. — Покуда паром придэ, на жаренку натягаю.

Справа от пристани плоский зеленый берег врезался между меловой горой и простором реки. Ирина заявила, что хочет купаться и умереть здесь, на этом прекрасном берегу.

Она сбросила платье и вступила в Дон.

— Ой, здесь камни.

Легкая донская волна колыхнулась у ее стройных загорелых ног, густо покрытых коричнево-золотистыми штрихами волос. Парень на пристани бросил тягать чебаков и откровенно во все глаза, едва не разинув рот, загляделся на сказочную женщину из автомобиля.

Вересов взглянул на четко высвеченную солнцем фигуру Ирины и подробно увидел расширяющиеся кверху округлости бедер и упругие дугообразные складочки-ямочки под самыми плавками.

Только мгновение смотрел он на Ирину и решил, что

должен уйти отсюда, потому что купаться задумали долго — целый день.

— Я пройдусь по берегу дальше, — сказал Анатолий Александрович.

Когда он отошел, Ирина сказала:

— О, как он мне надоел!

Борис снова промолчал.

А Вересов вступил на узкую скользкую тропинку, вытоптанную в мягких меловых камнях у подножья белого обрыва, и оказался в далеком чужом мире, в котором он никогда не бывал, а если и был когда-то в детстве, то давно уже позабыл законы и краски этого мира.

Пустынный каменистый берег, наклонно соскальзывающий под ногами к пенистому кружеву трущейся о камни волны, слепящие солнечные гребешки, играющие и дрожащие на далекой середине реки, кудрявистая гуща зелени на другом берегу, в полуденном мареве, будто присыпанная солнечной пылью, и над всем этим огромное праздничное небо.

Паром перестал тарахтеть, и оказалось, что единственный звук в мире — это сиротливое стрекотание кузнечика в жесткой мохнатой травке, пробивающейся кое-где среди меловых глыб.

А если прислушаться внимательнее, то еще реку слышно — она шепчет берегу какие-то свои тайны.

Слева молчит отвесная стена меловой горы, запятнанная кое-где жесткой травой. На гребне горы, эстампом вычерченный на жарко-голубом короткий закоренелый дубок — эмблема одиночества на празднике.

Этот мир не имел отношения к той системе людей и предметов, в которой существовал руководитель научного отдела А. А. Вересов.

Все окружающее представляло собой неорганизованный хаос примитивной природы. В лабораториях, в электронных устройствах, в расчетных формулах — тоже природа, но природа познанная и организованная. А здесь?

А может быть, и здесь есть какая-то необходимая система?

Но ничего не хотелось понимать. Хотелось просто си-

деть на большом мягком белом камне и растворяться в этой бессмысленной жаркой тишине.

Вода здесь у берега густая, солнечно-зеленая. То и дело вспыхивают в ней серебристые искры играющей рыбы.

Нужно ли заставлять себя что-то делать, о чем-то думать, когда тихий Дон спокойно и равнодушно течет в этих берегах независимо от научной деятельности Вересова, и одинокий дуб смотрится в его темно-зеленую глубь?

Оказывается, есть необъяснимая радость освобожденности от обязанностей выполнять нечто заранее предрешенное и от необходимости заранее рассчитывать каждый свой шаг.

Если бы Светлана была здесь, они вместе смотрели бы в эту равнодушную большую реку или купались. Света стояла бы в воде возле берега, и легкая донская волна колыхалась бы у ее ног. Он смотрел бы на Светлану просто и спокойно, и она улыбалась бы ему, как когда-то давно, в какой-то забытой жизни...

Потом надоело сидеть и захотелось снова идти вперед, скользя по мокрым белым камням.

Черная неподвижная фигурка рыбака, открывшаяся за изгибом реки, не нарушила здешнего дикого одиночества. Рыбак был такой же частью пейзажа, как камень, дуб, трава. И рыбак не удивился человеку, в модных летних брюках, испачканных мелом, и в белой шелковой майке.

— Здравствуйте. Как рыба? Клюет?

— Здравствуйте вам. Нэ клюе, хай его черт!

Анатолий Александрович сел поодаль и услышал, как сзади, где-то высоко на горе закричала птица: «Клю-у-нет, клю-у-нет, клю-у-нет». «Все они здесь заодно», — подумал Вересов.

Берег был не так пуст и дик, как это показалось сначала. Какие-то странные палки, регулярно расставленные вдоль берега, нарушали первобытную нетронутость пейзажа. Каждая палка старательно воткнута в меловую скрипучую землю, сверху нахлобучен мягкий белый камушек, от палки в воду уходит натянутая нить. Белые камушки на палках идут далеко вверх по реке и теряются за поворотом, извилистым пунктиром обозначая изгибы берега.

Кто-то и здешнюю природу познавал и организовывал.

И у рыбака удочки были осовременены металлическим сверканием катушек и блеском молчаливых колокольчиков на провисающих у концов удилищ лесках.

А из-за дальнего поворота черным пятном вдоль берега приближалась лодка.

— Скажите, а что это за палки с камнями? — спросил Вересов.

— То сороки Ленькины, — ответил рыбак.

Все равно, как если бы в институте этот рыбак спросил у Вересова, что это за железки с проводами, а он бы ответил, что это блокинг-генератор.

Затарахтел паром далеко за какой-то чертой, за которой остался некий Клеткин, подчиненный Вересову по службе, и женщина в купальном костюме.

Когда паром затих, ритмично захлюпали весла подплывающей лодки. Греб кто-то в старой зеленой гимнастерке и военной фуражке с выцветшим красным околышем. Здешние люди сомневаются в пользе сжигания кожи солнечными лучами. Рыбак тоже был в темной рубашке и брюках.

— Здоров, казак, — поздоровался он с сидевшим в лодке.

— Эге, здорово, Сашко! Нэ клюе? А я взял чурбака, — и он, сложив весла, наклонился к корме и, потянув толстую веревку — канат, показал из воды что-то плывущее за лодкой, похожее на золотистое бревно.

— Хорош, черт, — сказал Сашко. — Килограмм на десять потянет.

— А то ж! Там, я ехал, за мыском будто сорока упала. Ты покличь Леньку, нехай поглядит.

Лодка неторопливо захлопала дальше, а рыбак поднялся и, сложив рупором ладони, закричал куда-то в реку, будто вызывая водяного:

— Ленька-а! Ленька-а! Давай сюда-а!

Оказалось, что в зелени того берега имеется какое-то инородное темное пятно. От пятна отделилась и четко зачернела на песчаной полосе живая фигурка. Высокий тонкий голос закричал оттуда что-то непонятное:

— А-а... о-о... а-а!..

— Сюда давай! — кричал рыбак.

Какой-то неслышный ветерок вдруг четко донес протяжный крик Леньки:

— Нету-у сома-а!

— Вот черт глухой, — выругался рыбак и снова закричал:

— Сорока упала-а!

— Вчера-а, — доносилось с того берега.

Сашко кричал, показывал знаками, как упала сорока, снова кричал, пока наконец человек на том берегу не понял. В одно мгновение черное пятно превратилось в лодку, быстро пересекающую солнечную рябь стремени реки.

— А кто этот Ленька? — спросил Вересов.

— Чудак один живет там в шалаше. С самой весны. Рыбалит. Сома тоже ловит. Пойдем поглядим, что там у него.

Они подошли к месту, где прерывался пунктир камушков — сорок, почти одновременно с лодкой. Одна палка наклонилась к воде гораздо сильнее, чем остальные, камень с нее упал, и палка, странно подергиваясь время от времени, все больше наклонялась к воде.

Ленька стоял в лодке. Коренастый, с огромной рыжей бородой и густыми растрепавшимися из-под фуражки волосами. Он тоже был в рубахе и фуражке с выцветшим красным околышем — здешняя мода.

Сашко подбежал к палке и схватился, было, за натянутую леску, но рыжебородый грубо заорал:

— Не лапай! Без тебя разберусь!

Сашко отскочил от удочки и смущенно заулыбался Вересову: вот, мол, какой горячий, чудак.

Ленька, едва затащив лодку кормой на берег, схватил леску и азартно сказал:

— Сидит. Никуда не денется.

Напряженно нагнувшись, упираясь босыми ногами в камни берега, перебирая руками, он тянул тугую нить лески.

— Отпусти, а то оборвет, — волновался Сашко.

— Учи мать щи варить.

Ленька слегка отпустил леску, и она, сильно рванувшись, пошла вглубь. Ленька, качнувшись, потянулся за ней и влез в воду почти по колено. Так в брюках и полез. Задержав леску, он снова стал выбирать, медленнее и напряженнее, чем раньше.

— Подсак давай, — задыхаясь, сказал он Сашке. — Да не твой. В лодке у меня возьми.

— Давай я подсачу.

— Не лезь, так твою! Давай сюда подсак!

Это была самая ответственная операция, и даже Вересов, впервые наблюдавший современное уженье рыбы, понял, что тот, кого называют Ленькой, провел эту операцию блестяще.

Ленька зашел в воду еще дальше и, продолжая выбирать леску, ловко схватил подсак. Он поставил его в воде под собой, прижимая левой рукой, и выбирал леску, выбирал. В какой-то момент вода у ног Леньки забурлила и он, не выпуская лески, четким коротким движением повел подсак вперед навстречу рыбе и вдруг вывернул его как лопату вверх. В сетке отливало черненое золото, и из треугольной рамки подсака торчало огромное перо рыбьего хвоста.

— А ты боялась, — сказал Ленька.

Сашко счастливо засмеялся.

Ленька несколькими профессиональными приемами вытащил сазана, пропустил ему через жабры веревку и пустил в воду у лодки.

— Схема вся, — сказал он, закуривая, — и обозначения все.

Вересов в одно мгновение покинул мир тишины и рыбной ловли. Его мозг напрягся, решая задачу поиска в глубинах памяти соответствия услышанному. Кто-то уже говорил так: «Схема вся, и обозначения все».

Рыжебородый присел на камень, вкусно задымил папиросой и только теперь огляделся спокойными глазами.

Напрасно Анатолий Александрович преувеличивал возможности системы памяти электронной вычислительной машины. Память человека сработала быстрее. Он вспомнил в бесконечно малый интервал времени все — едва лишь рыжебородый поднял на него свои странные синие глаза.

И тот поднялся, увидев Вересова.

Луканов неоднократно убеждался в несправедливости утверждения, будто первое впечатление обманчиво. Наоборот — оно всегда верно. Когда он впервые

предъявил в проходной пропуск и шагнул на территорию института, его охватила какая-то серая щемящая тоска.

Настоящей работы не было в тот день. Научные сотрудники сидели где-то на семинаре, а молодежь, техники, слонялись по коридорам, перетаскивали какие-то ящики, собирались кучками и рассказывали мужские анекдоты.

К концу дня в комнату, где Луканову указали рабочее место, зашел Анатолий Александрович Вересов. Представился случай поближе познакомиться с начальством.

Вересов вошел как раз в тот момент, когда в веселой группе техников кто-то рассказал мужской анекдот.

Впоследствии Леонид вспоминал об этом случае как о первом впечатлении о Вересове. А первое впечатление никогда все-таки не бывает обманчивым. Оно всегда верно.

Увидев начальника, ребята замолчали, заулыбались, пряча глаза как наозорничавшие мальчишки.

Леонид быстро представил себе, как мог бы поступить теперь начальник. Поскольку он слышал разговор, то мог бы поддержать его. Так делают завоевывающие дешевую популярность демагоги. Если Вересов скучный, неинтересный человек, то он станет делать строгое внушение за болтовню в рабочее время. Пожалуй, лучше всего — просто ничего не увидеть и не услышать. Сам Леонид поступил бы именно так.

Но Вересов нашел четвертое решение. Вернее, не нашел никакого решения. Он остановился, оглядел всех растерянно и быстро вышел из комнаты. Если мозг — машина, как любил впоследствии повторять Вересов, то она оказалась незапрограммированной для решения данной задачи.

Виктор Уткин (это он напугал начальника своими выражениями) сказал Леониду:

— Вообще, шеф — мужик ничего. Только радиотехнического снобизма у него много.

Лишь первый день был для Леонида скучным. Он пришел сюда не скучать. На научном семинаре ему поручили доложить свои соображения о расчете системы, задуманной Вересовым. Он сразу согласился — пусть увидят, с чем он пришел в институт.

На этом семинаре Анатолий Александрович сидел в первом ряду, положив иогу на иогу, изящно откинувшись. Чувствовалось, что он еще ие привык сознавать себя руководителем научного отдела. Чувствовалось, что он держит себя не так, как это естественно получается, а так, как по его мнению должен держаться начальник. И модный красивый костюм, и поза Анатолия Александровича, и выражение лица — все было заранее обдумано и потому получалось излишне натянуто и подчеркнуто. Если бы просто человек сел так, как ему удобно, никто бы и не заметил, как он сидит. А Вересов положил ногу на ногу, вытянул носок модного штиблета и откинул голову на спинку стула.

Поэтому и прозвали его злоязычные техники — «наш барин».

Он сидел и внимательно смотрел, как Леонид рассыпает по доске ряды формул, схем, обозначений, графиков. Закончив писать, Леонид повернулся к слушателям, стряхнул мел с ладоней, пачкая пиджак, и сказал:

— Схема вся, обозначения все!

Оказывается, борода, которой мы обычно не даем вырастать, скрывает какие-то неизвестные наши свойства и может показать нас в новом неожиданном аспекте.

У Леонида Лукаиова были обычно темно-русые волосы, неопределенно круглый подбородок, мягкие губы. Ничто не указывало на возможность такой огромной дикой рыжей бороды. И волосы его разрослись густой нечесаной копной.

Физик двадцатого века, спасающийся от цивилизации на пустынном берегу Доиа.

— Здравствуйте, — сказал Леонид. — Как это вы приехали до нас?

— Да так, проездом на машине. А вы как? А работа?

— И жена ваша приехала?

— Нет, я один.

— Вот так друзьяки встречаются, — сказал Сашко. — Надо горилки доставать.

На семинаре Лукаиов докладывал просто, буднич-

но, не злоупотреблял эффектной терминологией. И выговор у него был какой-то ненаучный — мягкий, с придыхательным «г», с выразительным понижением тона в конце фразы.

— Да на шо это нам надо? — говорил Леонид («надо» — ниже чем остальные слова). — Здесь мы разлагаем («разлахгаем») по бесселям, — это следовало понимать: по функциям Бесселя.

Сегодняшнего физика трудно удивить. Он не станет восхищаться и умиляться достижением товарища, а просто скажет: «Ему удалось найти решение». То есть решение уже существовало раньше и его нужно было только найти. Как, например, грибы. Может найти один, а может и другой.

И про Луканова сказали: «Ему удалось».

Вересов не сказал и этого.

Долго молчал, ничем не выдавая своего отношения к докладу, потом поднялся, подошел к доске и сказал, равнодушно подавляя зевоту:

— Да-а... Можно и так сделать...

Сказал, как сказал бы парикмахеру: «Можно и шипром, можно и цветочным». Сказал так, будто кроме предложения Леонида, ему было известно еще десятка два вариантов, позволявших решить задачу.

— А в математике здесь, по-моему, нечисто, — сказал Вересов и сразу ушел в кабинет. Как артист, уставший от роли и спешащий в свою уборную, чтобы скорее сбросить маску и стать самим собой.

— Простите, я прослушал, из какого источника взят материал? — спросил Клеткин. — Из отечественного или из американского?

— А не из какого. Это мое предложение.

После семинара Клеткин возмущался:

— Ничего себе, лажу выдал. Если можно так считать, как этот чувак говорит, то где-нибудь давно бы уже реализовали.

— Горилка е, — сказал Луканов. — Можно и выпить и поговорить.

— Как раз мы недавно вспоминали ваш расчет, — сказал Вересов. — Нам пришлось остановиться на варианте с пониженным усилением. Помните, вы докладывали на семинаре.

— То интересный был расчет.
— Но с математикой там не все... ясно.
— Знаете, поедемте ко мне на тот берег в шалаш. Если, конечно, временем располагаете.
— Время у меня есть.
— Вот хорошо получается, — радовался Сашко. — И горилка есть, и рыбу поймал, и дружка встретил.
Но рыжебородый Ленька не пригласил его с собой. В разговоре о расчетах Сашко был лишним.
— Вы заходьте в лодку, а я толкну. Тут вода, вы с краю заходьте.
Значит, все-таки нашли правильный вариант схемы. Только расчет у них не получается. Было бы странно, если бы совсем забыли его идеи. Такого не бывает. Настоящие мысли всегда остаются, потому что нужны людям. К сожалению, в большинстве случаев идею признают слишком поздно для ее автора. Обычно после увольнения.
Тогда в институте Леонида почти не интересовало отношение других к его мыслям, которые он небрежными знаками выразил на доске семинара. Он знал, что его идея хороша и верна, потому что это была не его идея, не мысль научного сотрудника Луканова, а нечто существующее и действующее во вселенной независимо ни от Луканова, ни от Вересова, ни от кого бы то ни было. Он знал, что коснулся одной из бесчисленного множества таинственных нитей, опутывающих мир сетями причин и следствий. От него требовалось только не упустить эту ниточку истины и следовать за ней, держа ее осторожно и твердо.
О том времени вспоминается как о настоящей жизни, которой должен жить человек.
Бывали, конечно, и трудные моменты — когда терялась едва ощутимая ниточка истины. Тогда не было ни воскресенья, ни праздника, ни отдыха, ни сна. Решительно бросал Леонид на бумагу шеренги уравнений и преобразований. Огромными дозами расходовалось тогда интеллектуальное горючее — черное кофе, и пачки «Беломора» распечатывались, как коробки с патронами в жестоком бою.
Он жил тогда, как полагается жить человеку.
Жил для того, чтобы ПОНЯТЬ И СОЗДАТЬ.
Интересно, что когда он окунулся в бесконечные ла-

биринты нерешенных или нерешаемых проблем современной физики, за которыми пряталась истина, ему не стало страшно. Потому что он понял, что может. Он понял, что дело не в законспектированных лекциях, не в исчерпывающих справочниках. Никакие лекции или курсы усовершенствования здесь не помогут. Вся эта стройная система рецептов годится лишь для серого ремесленничества, вроде создания машин, которые могут заучивать эти рецепты и выводить из них новые. Нужно совсем другое. Наверное, это другое дается не каждому из тех, кто получил диплом физика.

В общем Леонид знал, как решать проблему, и его не пугало, что в процессе решения пострадали некоторые математические рецепты, изобретенные сто и двести лет назад.

В институте говорили:

— Луканов — светлая голова. Сделает диссертацию, и барин его заместителем возьмет.

Клеткин сомневался:

— Еще неизвестно, во что это выльется.

Этот Клеткин недолюбливал Леонида с самого его появления в институте, а в дальнейшем они вообще поссорились.

Как-то под вечер Леонид написал на доске смелое преобразование. Любил он поиграть мыслью. Всю доску исписал, и даже на желтой рамке пришлось дописывать последнее выражение. Дерзкое было преобразование.

Он закурил и с мальчишеским удовольствием рассматривал математическую поэму интегралов и производных. Сильно было сделано. Пуанкаре не понял бы этого преобразования — ограниченный ремесленник. А вот Лобачевский бы понял. И Ляпунов. И Эйнштейн.

Вот тогда-то и пришел Клеткин с каким-то удивительно наивным вопросом. После увлекательнейших приключений в джунглях новейшей математики Леонида поразило дикое невежество вопроса (кажется, формулу обратной связи в усилителе Клеткин не понимал).

— Я бы постеснялся такое спрашивать, — сказал Леонид. — То ж азбука радиотехники. Школьники из радиокружка это знают.

Сначала Клеткин не обиделся. Он был простой парень. Решил, что с ним шутят. Он был из тех веселых

простых парней, которые охотно поступают учиться во всевозможные институты и университеты и уверенно добиваются дипломов, совершенно не интересуясь наукой, которую изучают. Экзамены они сдают всегда успешно с помощью энтузиазма или шпаргалок. Леонида всегда удивляли эти мальчики. Неужели неинтересно разобраться в современной физике, например? А если неинтересно, то зачем пять лет на лекциях торчать?

Что касается той пустяшной формулы, то Леонид собирался объяснить ее Клеткину и даже с сожалением стер часть своих промежуточных преобразований. Но Борис Клеткин посмотрел на часы:

— Пять часов.

Это настолько возмутило Леонида, что он как-то даже сразу устал. Какие все-таки серые ребята вокруг. Почему они такие нелюбопытные, неактивные? Чисто по-лакейски: отсидел время, и до свидания.

Леониду не платили лишнего за то, что он сидел в лабораториях до ночи, пока не выгонял вахтер. Он и не хотел никакого другого результата от своей работы, кроме, собственно, результата. А этот недоучка домой к мамочке захотел. Или к жене? Эти мальчики любят рано жениться (по Фонвизину, что ли?).

— Правильно, Боря, — сказал Леонид. — Нехай трансформатор работает. Пойдем.

Леонид приколол поверх доски лист бумаги со строгим «не трогать» и пошел вместе с Клеткиным. Борис гордо предложил подвезти на своей новой «Волге».

— Цвета морской волны, — сказал Клеткин. — Под цвет глаз моей Иринки.

За рулем он оказался совсем другим человеком. Теперь это был не мягкогубый мальчик-недоучка, а твердый мужчина, вдохновенно и решительно делающий трудное, любимое дело.

Небрежным, но заботливым движением поправил куклу-талисман, включил приемник, закурил.

Вот когда живет Борис Клеткин.

— Работал бы ты, Боря, шофером, — сказал Леонид. — Жил бы и радовался. На шо тебе та головная боль с физикой? Не твоя то дорожка. А шофер бы классный был.

Вот тогда и обиделся Клеткин на Луканова всерьез. И стал считать Леонида подонком.

В лодке Вересов сказал:

— Многих удивил ваш уход из института. Сейчас бы вы смогли продолжить свою работу.

— А я продолжаю. В свободное от работы время. А работа здесь ненормированная. Вон они, сороки, стоят.

Это тогда весной Анатолий Александрович Вересов сказал подчиненному по службе Луканову:

— Своим расчетом вы сможете заниматься в свободное от работы время.

Как будто у человека бывает время, свободное от жизни.

Даже поучать его счел возможным А. А. Вересов. Спокойно, без тени юмора.

— Всем сейчас приходится делать не то, что хочется, а то, что нужно, — сказал тогда Вересов. — Особенно нам, физикам, — здорово у него прозвучало это «нам». — У меня тоже есть совсем другие желания и стремления, а работаю здесь.

— А зачем? — спросил Леонид. — Зачем же вы делаете то, что вам не нравится?

Вересов пожатием плеч и выражением лица изобразил какую-то сложную мысль, которую можно было понять как бессилие перед высшими обстоятельствами и сомнение в данном направлении разговора.

— Человек может делать хорошо только то дело, которое любит, — сказал Леонид.

Сказал человеку, ровеснику, физику (Вересов же сам назвал себя физиком). А перед ним был просто начальник, который посмотрел на часы, резко захлопнул лежавшую на столе книгу и сказал:

— Вы подняли очень интересный вопрос, но, к сожалению, он не относится к делу. Я с удовольствием продолжу с вами этот разговор после работы, а сейчас я вынужден с вами расстаться. Итак, с завтрашнего дня подключайтесь к Клеткину. Всем нам приходится делать не то, что нравится, а то, что нужно. А своим расчетом можете заниматься в свободное от работы время.

Кабинет Вересова узкий и длинный.

Врезано в серое небо большое окно. Вспоминается уютное купе вагона, в котором едешь куда-нибудь далеко. Туда, где можно делать то, что хочется человеку.

Напрасно Луканов пытался показать этому человеку, что его расчет нужен институту гораздо больше, чем все усилители, которые можно напихать в систему, что расчет имеет и самостоятельную научную ценность.

Хорошо, что спохватился вовремя и не сказал, что для него этот расчет становится вопросом жизни и смерти. Разве можно говорить так с человеком, который заранее знает, что нужно и что не нужно.

— Вот интересно, — сказал Луканов, широко улыбаясь, — откуда вы знаете, шо нужно, а шо не нужно? Или вам при назначении на должность специальный конвертик выдают, в котором все записано? Или у вас какая-нибудь запрограммированная счетная машина в столе?

Беззвучно захлебнулся Вересов, а Луканов еще глупее улыбнулся и сказал:

— Так я пойду, Анатолий Александрович. Работать же надо.

— Работка здесь ненормированная, — сказал еще раз Леонид. — Вот сегодня не думал на сазана, а он взялся.

Он сегодня действительно не рассчитывал на сазана, потому что вчера взял трех и позавчера двух. Сегодня он хотел поваляться в палатке, поиграть мыслями, а на закате половить лещей с лодки. На утренней зорьке можно было бы за налимами поохотиться. Нет лучше приманки для сома, чем хороший налим. А сома нужно взять крупного, килограммов на пятьдесят—восемьдесят. В совхозной столовой купят. Гро́ши нужны. Впереди еще много лета. Как неудобно сидит Вересов в лодке. Как-то скрючившись, судорожно схватившись за борта. Это тебе не письменный стол в кабинете. Самое удобное место, где можно спрятать свою бездарность — это кабинет руководителя средней руки. Вместо глаз у Вересова водянисто-серые линзы. Одна линза временами дергается — какая-то неисправность в механизме. Нужно смотреть мимо него и выдерживать курс. Если большой камень возле Сашки и одинокий дубок на горе находятся в створе, то лодка идет прямо на пещеры по диагонали через Дон, и если честно выгребать, то выйдешь как раз к шалашу. Если бы он не пригласил

Вересова к себе (он должен узнать у него...), можно было бы половить лещей вечером. А после разговора с этим человеком бесполезно забрасывать удочки. Даже белоглазка не будет браться. А если еще Вересов начнет поучать! Он же все знает. Даже знает, может ли машина заменить человека.

Тогда в отделе устроили нелепый диспут на эту тему. Удивительную чушь говорили на диспуте. Один доктор технических наук бубнил, что превращение машины в заменителя человека задерживается лишь тем, что какой-то завод никак не может освоить выпуск малогабаритных радиодеталей. Боря Клеткин перечислил сотни полторы названий книг и статей по данному вопросу. Таня Елкина выкрикивала с места: «А как же любовь?»

Все это Леонид скептически терпел. Но когда выступил Вересов, терпеть стало невозможно. Анатолий Александрович, как высшая инстанция, заканчивал диспут категорическим начальническим резюме:

— И даже с точки зрения философии на этот вопрос следует отвечать только утвердительно. Человек может создать машину, которая заменит человека, потому что человек имеет неограниченные возможности приближения к абсолютной истине сколь угодно близко. Все физики давно понимают это. Только писатели, и вообще художники, музыканты всякие, считают себя незаменимыми. Потому что каждому из них приходится начинать сначала, а работа физиков суммируется от поколения к поколению...

Леонид испортил А. А. Вересову удовольствие быть финальной инстанцией.

— Шо касается данного вопроса, — сказал Леонид, — может ли машина заменить человека, то я скажу, смотря какого. Как Анатолий Александрович рассматривает, что его может заменить, то, значит, пусть его и заменяет.

И по поводу философии сказал:

— С точки зрения философии, другая есть формула: машина не вместо человека, а машина для человека.

И об умных кибернетических машинах:

— А за шахматы вы неверно говорите, Анатолий

Александровнч, машнна играет не в шахматы, а совсем в другую нгру, хотя и по тем же правилам. Все равно как если бы в футбол нгралн механические болваны вместо «Спартака». По тем же правилам бы нгралн и голы бы забивали, а кто на стадион бы пошел? Тоже болваны? (Общий смех и реплика Тани Елкиной: «На футбол н сейчас одни болваны ходят».)

И насчет искусства:

— Неверно, что научная информация суммируется от поколения к поколению, а художественная ннформация произведений искусства бесследно нсчезает. Неверно, что каждому новому поколению прнходится строить свою культуру на пустом месте. Дело обстонт как раз наоборот. Давно нсчезла научная сказка о мнре, стоящем на трех кнтах, а поэмы Гомера, античные скульптуры н сегодня восхищают нас. А это как раз в те времена тогдашние ученые прндумалн трех китов. И в будущем, через века, люди будут смеяться над нашими научными представлениями, над нашей громоздкой примнтивной техникой, над нашими ракетами, и над теорией относительности будут смеяться, а романы Шолохова и стихи Есенина будут волновать людей так же, как н сегодня.

Хорошо он тогда говорил.

Зло.

И сейчас, вспоминая об этом диспуте, он зло напрягся и греб сейчас сильнее, чем нужно, — лодка подходила к песчаному берегу метров на сто выше шалаша.

— Это ваш, так сказать, лагерь? — спросил Вересов.

— Так н живу у речки на солнышке.

Леонид засушил левое весло и, глубоко н снльно загребая правым, быстро развернул лодку по течению. Сазан, все время спокойно тащившийся за лодкой, вдруг забарахтался н забурлил у кормы.

— Крепкнй сазан, — сказал Леонид. — Поснднт на приколе.

Низкий песчаный берег в нескольких шагах от воды поднимается невысокнм, но крутым обрывом, из которого торчат черные кривые корни. Густые нвы свисают над водой.

Шалаш уютно вдвннулся в тень между обрывом, мелколистьем падающей в омут ивы н тихой темно-зеленой водой.

А вверху ровиый могучий шум — над обрывом дубы и тополя купают в голубом ветерке старые ветви.

— Вот здесь выходите, а я рыбу привяжу. Там поза кустами у меия столбик. Тут прыгайте.

Вересов подиялся, качнул лодку и едва пе упал. Леонид схватил его за руку и плечо, помог удержаться.

Руки у Вересова, крепкие, мускулистые, горячие, потиые, густой светлый волос на руках ощущается как песок.

Леонид крепко держал эти руки и чувствовал странное удовлетворение.

Потому что этот человек — муж Светлаиы.

Леонид впервые увидел ее иа предмайском праздничиом вечере. Как раз в тот деиь, когда стало ясио, что настоящая жизнь кончилась. Апрельский дождь смывал остатки сиега и иллюзий.

Утром Леоиид подал заявлеиие об увольиеиии.

Две большие черные тетради, в которых записаи его метод расчета, сдаиы в каицелярию.

Не оставаться же ему было иалаживать усилитель Боре Клеткиу.

На что Леоииду иужеи тот усилитель? Чтобы два раза в месяц зарплату получать?

Маловато этого для человека.

И человек пил коньяк.

Впервые за много месяцев ои крепко выпил.

Вообще-то ои иногда прииимал рюмку коиьяка в качестве лекарства от переутомления, ио в тот серый мокрый апрельский день выпил имеино для того, чтобы быть пьяиым.

К вечеру ему было уже хорошо и горько.

Ои думал только о том, что летом махиет иа Дои, и о том, что глаза у иего синие, смелые, безотказно действующие на жеищии. На вечер ои пришел для того, чтобы увести к себе Таию Елкину.

Но там за совремеииым кургузым сиитетическим столиком сидела Светлаиа Вересова. Лицом к залу, в обрамлеиии двух официальиых профилей. Как художествеииый шедевр в плохой рамке.

Совремеииые столики специально создаиы для то-

го, чтобы женщины могли высоко показывать свои ноги.

Глаза Светланы, светлые, блестящие, специально созданы для того, чтобы Леонид резанул по ним своим веселым синим взглядом.

И ее глаза задрожали, блеснули еще ярче и, не выдержав, сломившись, опустились.

Оказывается, вот что нужно было Леониду.

Он забыл об этом за своими азартными расчетами. Которые, кстати, никому не нужны.

А зачем нужно Вересову мыслить и творить, если все записано в справочнике? Нужно только знать, на какой странице. Опять же машину можно сделать, чтобы думала, а мы будем указания давать.

С проницательностью пьяного пессимиста Леонид увидел тогда непристроенность женщины за тем скучным столиком.

«Я уведу тебя, — подумал он. — Я спасу тебя от них, чистоглазая!»

А у мужа крепкие волосатые руки.

— Вот теперь прыгайте, — сказал Леонид. — Я поддержу.

Вересов удачно прыгнул на песок, а Леонид, качнувшись, обидно ударился коленом о борт.

Плохо, что пока он привязывал рыбу и закреплял лодку, Вересов успел войти в шалаш и увидеть то, что лежало на столике-доске. Волновала в этом смысле не подшивка солидного издания «Рыболов-спортсмен», и не первый том «Тихого Дона» (великий роман хорош еще и тем, что начинается с описания ловли сазана на Дону). Эти книги могут не опасаться водянистых глазлинз Вересова. Вот тетрадочка, откровенно раскрывшая тайные игры червей-интегралов, должна была спрятаться.

Но Вересов заметил и даже дернулся в какой-то хитрой улыбке. Наверное, расценил тетрадочку, как некую слабость Леонида, как просьбу о возвращении.

Пусть посмотрит, как живет здесь бывший научный сотрудник Луканов. Нужно быстро сбросить все с чемодана, превратить чемодан в стол и разобрать ворох вялой полыни в углу.

Полынь запахла, как запела.

Здешний холодильник — бочонок с ключевой водой (уже малость нагрелась).

— Горилка е, — сказал Леонид. — И закуска е.

Он достал кастрюлю и бутылку водки.

В кастрюле — жареная рыба, щедро пересыпанная зеленым луком.

В бутылке — томительно прозрачная водка.

Ожидающие стаканы стоят среди щедро разложенных кусков хлеба, сала, яблок, чеснока.

Брезентовые двери шалаша распахнуты, и в них заползает дрожащая синяя тень прибрежной ивы.

Пахнет водой.

Ровно шумят старые деревья.

На что он нужен тот научно-исследовательский почтовый ящик?

— По стаканчику? — спросил Леонид. — А зря вы супругу с собой не прихватили.

И сам услышал фальшь своих слов. Забулькал громче наливаемой водкой и скорее ринулся в стакан, чтобы убежать от фальши.

Вересов свой стакан выпил честно (все-таки мужчина), отдышался, съел яблоко и спросил:

— Так и живешь здесь?

— Был один интересный физик. Он считал, что лучшая профессия для физика — это быть смотрителем маяка. Чтобы свободно мыслить. Чтобы кусок хлеба получать не за торговлю мозгами, а за простой нужный труд. Был такой скромный физик. Эйнштейн его фамилия.

Вересов сделал движение руками и лицом, будто отмахивался от какой-то неприятной мухи.

— Об Эйнштейне много говорят лишнего, — сказал он. — Формулы его преобразований вообще-то нетрудно получить. Немцы раздули Эйнштейна — соотечественник. Если трезво посмотреть, то Пуанкаре раньше его написал все преобразования.

— Конечно, — сказал Леонид. — Шо там тот Эйнштейн.

— А зимой что будешь делать? — спросил Вересов.

— В школе детишек буду учить. А то здесь, знаете, как плохо...

И опять Леонид почувствовал фальшь своего «зна-

ете» рядом с упрощающим «ты» Вересова. Проклятая рабья привычка. Побыл в служебном подчинении у человека, и потом так и смотришь на него снизу вверх. Чтобы окончательно уйти от фальши, пришлось закурить. Вересов, конечно, не курит — вредно.

— Сегодня ночью я работал. Считал эту систему. Ты ведь тоже ее считал. Вариант с малым усилением. И все-таки устойчивое решение отсутствует. У тебя както получалось, но там у тебя в математике, так сказать... Нечисто у тебя было в математике. Я не помню что. Голова как-то кружится, но нечисто.

— Значит, догадался на пониженное усиление? Все-таки ты парень с головой. Было б сразу меня послушать. А насчет математики, так та математика, шо в справочниках, здесь не годится. Это тебе не шахматы. Здесь мыслить надо не по правилам.

— А ты мыслишь? Здесь? — И Вересов нелепо засмеялся. — Какая борода у тебя смешная.

— Вот именно мыслю. А тебе шо б разобраться, надо будет физический журнал почитать. В следующем номере будет статья одного, скажем, физика. Есть такой физик. Л. Луканов. И схема вся.

— А почему мне не наливаешь?

— Может, хватит? Ты же много не пьешь. А то тебе еще ехать. Я помню, ты тогда на вечере почти не пил.

Это запомнилось.

Как и все, касающееся Светланы.

И несколько часов грохота самодеятельного («космического») ансамбля, света, дыма, острых глотков алкоголя вспоминаются, как краткий миг рядом с бесконечно длинными минутами встречи со Светланой.

Он сразу решил, что уведет ее. Нужно было только уловить момент и еще выпить.

По-человечески выпить можно было только за большим столом, где шумела молодежь.

Холостяки.

Техники.

Студенты вечерних факультетов.

Таня Елкина подвинулась, увидев Леонида. Виктор Уткин замахал: «Давай сюда!»

Но теперь Леониду не нужно было ожидающее его место рядом с Таней.

— Ну шо, хлопцы, докажем, что мы не машины, — сказал Леонид и, не садясь, взял у Виктора полную рюмку.

— Внимание! Говорит радиогазета «Веселый импульс», — забубнил магнитофонный голос. — К славному первомайскому празднику наш отдел подходит...

— Ну шо, хлопцы, докажем, что за столом машина никогда не сможет заменить человека, — сказал Леонид и налил себе еще рюмку. — И еще кое-где. Верно, Таня? — и он подмигнул Тане Елкиной.

— А если человек будет настолько пьян, что не сможет танцевать, то кто его тогда заменит? — спросила Таня.

— Внимание! Говорит «Веселый импульс»! Прослушайте важное сообщение! Сотрудникам нашего отдела к первомайскому празднику выписаны значительные денежные премии. Жены, будьте бдительны!

— Тогда человека заменит Вересов, — сказал Леонид и снова наполнил свою рюмку.

Он был еще в нескольких шагах от столика, а Светлана уже ждала, готовясь встать. Леонид даже не успел пробормотать приглашение, а Светлана уже поспешно встала, будто боялась, что он скажет нечто такое, чего не должен слышать муж.

Сразу поняла, чего он хочет от нее. Во всяком случае, когда они начали танец, не могла не понять.

Все по правилам: правая рука выше талии, левая — за руку. Только руки не такие, как у простого партнера по танцу, а такие, как у мужчины, обнимающего женщину.

Светлана в первый момент порывисто отстранилась от него, но руки держали железно, и она послушно пошла.

Пожалуй, все и решилось тогда, в первый момент. Он повел ее за угол Г-образного зала, где танго медленно кружилось в голубом полумраке. Сказал, что ему как раз сегодня очень нужна она, если она действительно Светлана.

Сказал, что ее замужество рассматривает только юмористически. Сказал, что его вообще не интересуют такие мелочи, как ее семейное положение.

— А что же для вас не мелочь?

— То, что в твоих глазах светится, Светлана. Посвети мне поярче, Светочка, чтобы я знал, как дальше жить.

Круг танца подвел их к широким стеклам входных дверей. За стеклами в преувеличенном ярком свете уличного фонаря демонстративно целовались Таня и Виктор. Запрокидываясь в поцелуе, девушка ухитрялась смотреть через стекло окна — видит ли тот, для кого это предназначается.

— Пойдем туда, — сказал Леонид.

Светлана спросила «зачем», когда они уже вышли в сырую апрельскую ночь, за угол, где не было фонаря, и где гулкие весенние капли звенели громче заглушенных ритмов космического ансамбля.

— Какую-то пару мы испугали, — сказала Светлана.

Вспоминается, как долгое глубокое свидание, а в действительности все продолжалось ровно столько времени, сколько ансамбль играл грустное старинное танго. Оказывается, несмотря на всю невероятность происходящего, Светлана все время слушала музыку, чтобы вовремя вернуться за свой столик. Женщины умеют даже в самых своих безрассудных поступках оставаться удивительно разумными.

И когда он сильно и грубо обнимал ее (видно, никогда еще не ласкали ее так мужские руки), и когда предлагал ехать к нему, и когда вспоминал какие-то выразительные стихи, Светлана прислушивалась к музыке.

Они стояли у глухой темной стены. Мимо них непрерывной весенней гулкой дробью падали звонкие капли. Прямо перед ними начиналась густая широкая тьма молодого парка. Вдали голубыми молниями вспыхивали троллейбусные разряды, высвечивая щетинистые гравюры нераспустившихся деревьев.

Почему-то Леонид вспомнил тогда:

Спит ковыль, равнина дорогая
И свинцовой свежести полынь...

Совсем не о московском проспекте написаны эти стихи, но почему-то удивительно пришлись тогда.

— А в Политехническом сегодня вечер поэзии, — сказала Светлана.

— Пришлось идти сюда, потому что всем нам приходится делать не то, что хочется, а то, что надо?

Светлана только посмотрела молча.

А он целовал ее и требовал, чтобы она ехала с ним. Хотя бы потому, что так не надо. Они люди и должны делать то, что им хочется. Хотя бы иногда. Иначе зачем жить?

— Не будь сумасшедшим, — сказала Светлана.

— Хорошо, Светочка, я подожду до завтра. Но завтра я буду ждать тебя, пока не придешь. Хоть всю жизнь.

— Неужели ты думаешь...

— Конечно. Ты ж хозяйская жена, а я лакей. Ты должна меня жалеть и любить.

— Почему лакей?

— Интеллектуальный лакей. Служу своим мозгом твоему мужу. А он мне за это платит.

— Нет, Анатолий Александрович. Не пойду я больше в интеллектуальные лакеи. Буду здесь в шалаше существовать. Горилка е, сазан берется. Зимой детишек буду учить. И схема вся.

Вересов выпил стакан ледяной воды, съел большой кусок рыбы и несколько отрезвел.

— Ты, Луканов, ошибаешься, — сказал он и быстро заморгал левым глазом. — Нельзя так. В научно-исследовательском институте работает большой коллектив, и научная работа сейчас ведется коллективно...

— Ну шо ты мне говоришь за науку? Разве ж то наука, чем у вас занимаются? Это ж ремесленничество! Наука — это мыслить. А мыслить коллективно могут только муравьи, а не люди!

— Но чтобы достигнуть в науке чего-либо, коллектив должен работать по определенному плану. Каждый член коллектива выполняет определенную часть работы, а коллектив в целом решает научную проблему.

— Научная фабрика. А люди — винтики. Нажмешь кнопку — он налаживает усилитель, нажмешь другую — создает теорию относительности.

— Не утрируй, Луканов.

— Самое главное — это устроиться на верху машины. Шо б самому не быть винтиком. И управлять другими. Заставлять их думать только по команде. Такие понятия как вдохновение или, смешно говорить, талант, отменяются. Шо б ты делал, Анатолий Александрович, ежели б у тебя Эйнштейн работал научным сотрудником? Или Лобачевский? Заставил бы усилители налаживать? Или бы уволил? Опасно иметь таких подчиненных. Могут того... Свалить. И зачем таланты, когда все написано в справочниках? Зачем таланты, если любой сотрудник в соответствии с указаниями начальства создаст любую новую теорию в намеченный планом срок?

— Ты утрируешь, но я понимаю тебя. Все сводится к тому, что тебе не дали заниматься тем, чем тебе хотелось бы в данный момент...

— Тем, чем я должен заниматься для того, чтобы дать максимальный выход.

— Ну, а если надо делать именно то, что тебе не хочется? Если так надо? Понимаешь, надо? Или ты договорился до того, что тебе вообще плановая система не нравится наша? По-твоему, пусть каждый делает, что хочет?

— Я сейчас договорюсь до того, что скажу так: система очень правильная, но при этой системе руководитель должен быть тоже правильный.

— Значит...

— Да, значит! Вот ты занимался в свое время ускорителями. А скажи, на основе какого открытия работают все эти синхрофазотроны, циклотроны, синхротроны?

— Это широко известно — принцип фазовой устойчивости.

— О! Принцип фазовой устойчивости, открытый советским ученым. Когда? В 1943 году! А ты бы, Анатолий Александрович, сказал бы этому ученому свое «надо», загнал бы его куда-нибудь, если не на фронт, то на завод, снаряды делать, и не было бы ни принципа, ни ускорителей, ни приоритета.

— Да, но...

— Не хотел я с тобой об этом говорить. Если б не...

— Ты не прав, Луканов. Хорошая, нужная идея все-

гда найдет применение. Вот и твой расчет. Мы же применили пониженное усиление. И без тебя...

— Но вы так и не довели до конца. Потому что боитесь уходить от рецептов. Потому что заменяете человека машиной... В общем, не надо об этом. Скажи мне, Анатолий Александрович, почему ты не хочешь рассказать о... о жене своей? Как она?

Левый глаз Вересова задергался с такой частотой, что даже страшно стало. Хотелось как-то остановить эту дрожь, но Леонид не знал как.

Когда тик прекратился, Вересов сказал:

— У меня нет жены. И не надо больше об этом. Поговорим лучше о том, что нам надо вместе работать.

— Что со Светланой? Она умерла?

— Может быть, — равнодушно пожал плечами Вересов. — Меня не интересует ее судьба. Просто мне не нужна женщина, у которой есть любовник. И хватит об этом.

— У нее кто-то был? Тебе сказали?

— Она сама сказала мне, — Вересов вздохнул и твердо и спокойно посмотрел в глаза Леониду. — Не надо, Леонид. Она сказала мне сама, что была с тобой. Зачем ты?..

— Она сказала тебе это? И ты!..

— Я не хотел тебе говорить. Но ты же сам...

— Ты считал меня ее любовником? И сидел здесь со мной! Пил! О расчетах рассуждал!

Леонид почувствовал, как горячо покраснел. От водки, от жары, от стыда, еще от чего-то. Может быть, от боли.

Или от ненависти.

Или от того, что муж может спокойно рассуждать о функциях Бесселя с человеком, которого считает любовником жены.

— Иди-ка ты, Анатолий Александрович...

Резко поднялся Луканов. Бутылки, стаканы, недоеденные куски — все посыпалось на землю и на Вересова. Тот вскочил, и глаз его часто замигал.

— Иди, Анатолий Александрович, гуляй, работай. Пока журнал выйдет с моей статьей, могу вот тебе корректуру дать. Ты человек грамотный, разберешься, как надо правильно считать. Держи, держи. Сделаешь свою систему и будешь счастлив. Много ли тебе нужно-то?

— Я не понимаю...

— Поймешь. Только на лодке я тебя не повезу. Опасно. На паром покажу дорогу.

На берегу стояла густая жара. Длинные тени от меловой горы еще не доплыли сюда, а дрожали где-то у середины реки.

Нужно было, держась за ветки и корни, взобраться по горячему песчаному обрыву. Там, под ровным шумом деревьев, пряталась зеленая тропка.

— Вот так прямо и выйдешь к парому. С километр, не больше.

— Я все-таки не понимаю...

— Иди, иди. Статью не потеряй.

— Ну, до свидания, Леонид, я все-таки...

Вообще Луканов мог бы и не подавать руки ему, но демонстрации здесь в лесу тоже ни к чему.

В шалаш возвращаться было нельзя — там оставалось горькое, страшное и стыдное.

Леонид забрался в лодку и пустил ее по течению. Умыл лицо донской водичкой. Подождал, пока от этого берега отвалил паром. Убедился, что Вересов на пароме.

Может быть, все-таки половить лещей?

На другом берегу, там, где стояла «Волга» цвета морской волны, тоже не удалось организовать веселый отдых.

После того как поели ухи, Ирина неожиданно закатила истерику.

— Как ты мог отпустить его одного? — кричала Ирина. — Ты нарочно прогнал его от нас!

Сначала Клеткин не понимал, почему после ухода Вересова Ирина перестала радоваться купанию и солнцу, почему началась истерика.

— Ирина, ты же сама...

— Что я сама? Я говорила, что не нужно брать его с собой. Но теперь где он? Где он?

Чтобы понять все, достаточно было услышать это «где он?».

Борис стоял на паромной пристани, с которой одиноко падали в глубь реки темные тросы — паром был на той стороне. Удивительно глупо пользоваться в двадцатом веке паромом. Удивительно глупо, что Борису не повезло опять с начальником.

Первый его начальник оказался пьяницей и неудач-

ником. Его сняли. С Вересовым, казалось, все было хорошо. Будущее сулило только успехи. И кандидатскую степень.

Борис многим мог пожертвовать ради успеха на работе. Многим, но не всем.

Затарахтел мотор, и тросы, натягиваясь, начали появляться из воды. Они почти полностью повисли над рекой, и лишь посредине цепляли тяжелой дугой спокойную воду. Паром медленно и неуклюже двинулся от того берега.

Когда паром был на середине реки, стало видно, что на нем стоит Вересов, Ирина тоже увидела его, и Борис внимательно посмотрел ей в лицо. Все было решено. Ему второй раз не повезло с работой...

Когда паром ткнулся в пристань, «Волга» уже стояла здесь, готовая к переправе. На месте рядом с шофером, где все время ехал Вересов, сидела Ирина. Она прятала глаза.

Борис стоял на пристани. Рядом с ним — желтый чемодан Вересова. Борис был строг и спокоен.

— Мы решили ехать дальше одни, — сказал он. — В шесть часов отсюда пойдет автобус до станции. Вот ваш чемодан.

— Да, да, я знаю, — сказал Вересов. — Он просто дикий пьяный человек. С рыжей бородой. Он не понимает, что мы люди, а не голуби.

— Какие голуби? — удивился Клеткин. — Я говорю, на автобусе до станции доберешься. В шесть часов.

— Да, да. Я знаю. Мне товарищ сказал, — он кивнул на старика паромщика.

— Може, и запоздае, — сказал паромщик. — Хтой знае. Ну шо, начальник, заезжай давай.

— До свидания, Толя, — сказала Ирина.

Борис сел в кабину и нажал стартер.

Он многим мог пожертвовать ради успеха на работе.

Многим, но не всем.

Сначала перестал трещать движок парома.

Потом тонко зарокотала «Волга» цвета морской волны.

Блестя лаком на солнце, она пылила, поднимаясь по серой дороге на том берегу к лесу.

Потом только пыль слабо дымилась там.

И золотисто-розовая прозрачная огромная пелена повисла над рекой.

Солнце шло к закату, и длинная тень от меловой горы плыла по реке. За рекой оставался человек, нашедший решение.

Левый глаз Анатолия Александровича нервически дергался часто-часто...

Любимые тревоги

Глухой зимней ночью, когда военный городок заметала пурга, старшего лейтенанта Бывальщикова вызвали в штаб.

— Обул бы валенки, — сказала жена. — Буран-то какой!

Алексей ответил ей коротко и по вызову прибыл как положено: в хромовых сапогах, в шинели под ремень.

Дежурный передал приказ: немедленно выехать на точку «Белые Буяничи» и обеспечить боеготовность станции обнаружения.

— Округ предупредил, что ожидается самолет-нарушитель, — сказал дежурный, — а на станции что-то случилось, и, как нарочно, Осипов заболел. Так что, старшой, бери «газик» и шуруй. Наводи там марафет. Готовность 3-00. Цель пропустить нельзя — сам знаешь.

Доехать удалось лишь до поворота. Дальше дорога шла вверх по открытому полю, и ее с вечера замело чуть ли не на метр. До точки оставалось километров семь. Можно было вернуться в полк и взять вездеход. Но Бывальщиков прикинул время и решил идти пешком, напрямик через поле.

— Вам что, старший лейтенант, жизнь надоела? — удивился шофер. — По такой метели? Да нехай она горит ясным огнем, та станция! Рядом же другие локаторы на готовности стоят.

— Болтаете много, сержант, — сказал Бывальщиков и, захватив чемоданчик с любимым личным инструментом, шагнул в снежную бурю.

Намело выше колена, и бежать не удавалось. Чтобы двигаться быстрее, Алексей сгибал ноги и взрывал коленями рассыпчатые сугробы. Разогревшись, он не чувствовал, что в сапоги набивается снег и пальцы ног коченеют.

На станцию Бывальщиков пришел в начале третьего и, сбросив шинель, сразу принялся за работу. Потребовалось заменить высокочастотный кабель и перепаять несколько сопротивлений. Минут за пятнадцать до назначенного срока он включил высокое, убедился, что по кругу индикатора вращается яркий радиус развертки, высвечивая местники — бледные пятна изображений местных предметов, доложил о готовности и только после этого разулся и понял, что отморозил ноги. Утром его отвезли в гарнизонный госпиталь.

Бывальщикову ампутировали два пальца правой ноги и вдобавок нашли какое-то заболевание кровеносных сосудов.

Председатель военно-врачебной комиссии сказал:

— Все, старший лейтенант. Отслужился. Иди-ка, брат, на гражданку, под защиту профсоюза.

Летом, сразу после демобилизации, поехали к родителям жены, в тихий среднерусский городок, запрятавшийся далеко от железной дороги, на высоком берегу реки.

Алексей бывал там и раньше, лет шесть назад, когда знакомился с будущими родственниками, и городок, с тех пор совершенно не изменившийся, вызвал у него тяжелую тоску, словно приснилось невозвратное прошлое, словно случилось с ним то же, что с путешественниками на Марс в его любимом фантастическом рассказе, где марсиане создали людям иллюзию возвращения в детство и этим погубили их.

Он читал этот рассказ и едва закончил читать, как объявили тревогу, и до утра на квадратных экранах комплекса ползли метки целей, и надо было ловить их на перекрестие и давать команды на батареи...

Конечно, изменения были: тополя разрослись там, где раньше была поляна; еще гуще и неодолимее наступали на речонку несметно-густые рати камыша, тяжело клонящиеся серебристыми спинами; но все тот же старый деревянный мост с покосившимися отлогими

быками вел в город, так же надоедливо непрестанно громыхали грузовики и трещали мотоциклы, нескончаемо шли через мост группки голосистых, загорелых, повязанных платочками женщин с корзинами и сумками, сидели под мостом на берегу парни возле своих велосипедов, прислоненных к тополькам, играли в карты или молча и бессмысленно глядели на прохожих.

Так же скрипела калитка и звякала щеколда, и тесть улыбался с натужной бодростью, и теща говорила, всхлипывая: «Вот и приехали наши миленькие», и комнаты их дома сохранили вечный душновато-прохладный аромат слежавшихся половиков, старого дерева и засохшего хлеба. Старики заметно сдали, и от этого было еще тоскливее, и вспоминалась неминуемость смерти, и думалось, что в этой тишине смерть и есть единственное настоящее изменение, которое может произойти.

За столом, когда тесть разливал водку, Галя со страхом смотрела на мужа и робко умоляла: «Не пил бы ты, Алеша!» Алексей еще хотел ее обрезать как следует, но постеснялся при родителях.

Убеждали навсегда остаться здесь. Тесть говорил, что «наш первый — замечательный мужик, и в райсовете есть свой человек: когда детдом закрывали, от ихнего сада полоску мне прирезал; картошечку там сажаем; соседи замечательные: Петрович, правда, запойный, а Михайловна — ничего старушка, не очень вредная; ульев еще заведем; мотоцикл тебе купим, а то и «Жигули»...».

И теща уговаривала. Угощала варениками с вишнями (сквозь тонкое голубоватое тесто кляксой растекается темная ягодная мякоть, подцепишь вилкой — и кровью брызжет сок в густую белизну сметаны), поддакивала тестю: «И правда, Алешенька, на что тебе нужен тот город? И Нинушке у нас хорошо будет: никакого детского сада не потребуется».

Вечерами долго сидели на чисто вымытых ступенях крыльца, в густой тишине, наполненной запахами флоксов и душистого табака. Даже собаки не лаяли в городке, и лишь на шоссе издалека гудели редкие машины, и долго приближались их глазные фары, становясь ярче, увеличиваясь, бросая качающиеся снопы света, выхватывающие из ночи перила моста и темные кущи придорожных верб.

А когда в небе возникал медленный рокот пассажирского самолета и проплывали его одинокие огни, Алексей представлял, как хорошо можно было бы настроить станцию. Как прошлым летом, когда ничего не могли сделать со станцией во второй батарее; вызвали его, и майор сказал: «Леша, оживи машину», и он сразу угадал, что перепутаны концы в блоке и через несколько минут бросил отвертку и сказал небрежно: «В порядке машина, импульс колом не выбьешь!»

Спали на широкой деревянной кровати, на пышной душной перине, и в комнате было душновато, и приходилось все с себя снимать, даже простыню. «Нечего тебе с краю ложиться, — говорила Галя. — По ночам теперь не вставать — вот и спи у стенки, как положено мужику». И не было по ночам ни службы, ни тревоги, ни офицерских занятий на завтра, и не надо было выбегать в метель или ворочаться ночами без сна, обдумывая, что будет со станцией, если сгорит сто двадцать первое сопротивление в индикаторе (а назавтра оно как раз и сгорало, и Бывальщиков по телефону угадывал в чем дело и говорил в трубку: «А ты открой индикатор, найди эр сто двадцать один и понюхай, чем оно пахнет», и однополчане удивлялись: «Ну и Леха! Бог радиолокации!»)...

Купались на дальнем пляже. С горы, где в маленьком городском садике стояло некое деревянное заведение, этот пляж был виден в конце зеленой дуги берега оранжевой полоской с человечками, окруженной кустами. Ближайший куст казался отсюда идеально круглым. «Куст-шар» — так назвали бы его на тактических занятиях.

На обратном пути Алексей останавливался возле деревянного заведения, объяснял жене, что «в горле пересохло», Галя отговаривала: «Там же никогда пива не бывает», но он находил выход:

— Придется стакан сухаря засадить.

— Вот, вот... Тебе бы только...

Алексей бросал на жену пристальный взгляд исподлобья, и она замолкала.

На утренней зорьке пошли с тестем на рыбалку. Прошли по заросшей травой улице мимо крепкого глухого забора. На песке, у высоких запертых ворот зме-

ились пупырчатые автомобильные следы. Тесть объяснил, что это дом известного художника.

— Такой человек у нас живет, а ты уезжать хочешь...

— Ничего себе устроился. Он каждое лето здесь живет?

— Какой там! Что ты? Круглый год так и живет здесь. Картины пишет. Лес, реку... Рыбу вот ловит...

— Конечно. Если машина есть, то и здесь можно околачиваться.

Вышли к реке. Над песками противоположного берега полыхала малиновая заря.

— А вот и он сам, — сказал тесть.

На берегу стоял невысокий человек в темной простой одежде и удил рыбу на две бамбуковые удочки, аккуратно положенные на рогульки. У него было усталое лицо с глубокими бороздами вразлет от носа к подбородку, узкие глаза под очками в черной пластмассовой оправе. Здороваясь, он приложил руку к фуражке.

— Нынче плотва хорошо берется, — сказал художник. — Только постарайтесь аккуратнее насаживать опарыша. Желательно поперек, за утолщенную часть. Давайте, я вам покажу. Вот так. Грязный у вас опарыш. По-видимому, вы его неправильно готовите. Его необходимо хранить во мху.

С непреходящим внимательным доброжелательством смотрел художник и на поплавки, и на поля за речкой, и на Алексея, и на снимаемых с крючка трепыхающихся рыбок, но чувствовалось при этом, что не все его внимание здесь, что не перестает он думать о чем-то своем. Словно показывают ему какое-то представление, и он честно смотрит, и поскольку искренне стараются доставить ему удовольствие, одобряет участников улыбкой и взглядом, но в то же время не может забыть свои дела. Как старый почетный гость на концерте детской самодеятельности.

— Вы, по-видимому, муж Галины Сергеевны? — спросил он с видимым вниманием, но сразу же отвернулся к удочкам, и Алексей понял, что художнику совершенно безразлично, кто рядом с ним на берегу.

Ушли с рыбалки вместе. Поднимаясь в горку, Алексей почувствовал ставшую уже привычной боль и уста-

лость в ноге, но ие хотел показать этого, шел, ие останавливаясь и не отставая, и боль делалась такой иевыиосимой, что, казалось, нога сейчас подкосится и он рухнет на землю. Заставив себя дойти до начала улицы, он решил больше ие стесияться и отдохнуть, прислоиившись к забору, но художиик вдруг сам попросил подождать его, пока он отиесет улов «своим домашним», чтобы потом вместе «совершить утреннюю прогулку».

Пошли длииной дорогой вдоль косогора над речкой.

— На святой Руси петухи поют, — сказал художник. — Какая высокая литература! Все мои картииы не стоят одной этой фразы.

— Не зиаю, не читал, — сказал Алексей. — Я признаю только фантастику и военные мемуары.

Почему-то вместе с иекоторой робостью перед не простым известиым человеком возиикло желание противоречить ему, говорить что-то неприятное, злое. Художиик, наверное, почувствовал это, ио ие обиделся и не замолчал, а как-то ухмыльнулся терпеливо, словио ребеику, на шалости которого ие надо обращать виимания, и заговорил о прелестях жизии здесь, иа природе, вдалеке от заводов и театров. «Семья... Любовь... Тишииа... Работа иа земле и для земли», — говорил он, и Алексею становилось тоскливо и противио, как будто сиова читали вслух свидетельство о болезии, согласно которому старший лейтенант Бывальщиков А. И. иегодеи к воеииой службе с исключеиием с учета.

— Вы, иавериое, скучаете по своим армейским иачальиикам, Алексей Иваиович?

— Да. Комаидир полка у иас замечательный мужик. Батя.

— Вот и я тоже скажу, — торопливо вмешался тесть. — Еще когда до войиы на ДВК служил, был у иас старшииа...

— Тогда вам, коиечно, в город иадо ехать. Там иачальииков миого. Желаю вам наилучшего. Привет Галиие Сергеевие.

И художник попрощался, приложив руку к козырьку фуражки.

Алексей еще иесколько раз встречался с ним то на рыике — в заросшем травой дворике иесколько крытых рядов и за ними две старушки с яблоками и с картошкой, — то по дороге на речку, если останавливались

поговорить, художник всегда с искренней доброжелательностью убеждал остаться здесь и с глубокой неприязнью и даже с ненавистью высказывался о большом городе. «Это сборище людей, стремящихся властвовать друг над другом, — говорил он. — Только здесь, на земле, у истоков народной нравственности можно быть человеческим человеком».

Как-то перед вечером гуляли с Галей в садике над рекой и присели на скамейку под самым обрывом. Река лежала внизу серым чистым стеклом, но когда издалека затрещала запоздалая моторка, оказалось, что это не стекло, а тонкая и прочная матерчатая пелена, похожая на шелковую. Моторная лодка, почти невидимая, натягивала шелк и поднимала расходящиеся косым опереньем волны, словно кто-то вел снизу пальцем по натянутому шелку.

Художник появился в конце аллеи с собакой — пушистой, бело-коричневой, с непропорционально короткими ногами. Собака медленно шла рядом с ним, не обращая внимания на окружающих. В руках у художника был маленький серебристо-черный транзисторный приемник.

— Сейчас разведет бодягу про истоки народной нравственности, — сказал Алексей.

Художник попросил разрешения присесть с ними и поцеловал Галине руку. Алексей впервые в жизни видел, как кто-то изгибается в поклоне перед его женой и подносит к губам ее большие теплые пальцы. От этого возникло чувство, похожее на стыд, усилившееся после того, как Галя густо покраснела и что-то залепетала. Алексей отвернулся от них и рассматривал собаку, удобно улегшуюся на траве возле скамейки. Длинная густая шерсть мягким серебристо-коричневым воротником облегала ее сильную шею, челюсти расслабились в спокойной собачьей улыбке; и особенной красотой удивляли глаза: шоколадно-янтарные, выпуклые, стеклянно-блестящие, мерцающие веселыми искорками, они смотрели мудро и мечтательно. Как будто пес знал гораздо больше, чем все эти люди, добродушно усмехался их суете и разговорам. Алексей дотронулся до его шелковистой шерсти, сквозь которую упрямо ощущалось мощное упитанное тело, и собака вильнула хвостом и доброжелательно подняла глаза.

— Как это он вам позволил? — удивился художник. — Обычно чужих он не жалует.

Собаку звали Джек, и художник сказал, что такая же собака — валлийский корги — у английской королевы.

— Что вы говорите! — восхитилась Галя.

— Он у меня очень любит музыку и ужасно боится футбола. Когда я включаю репортаж, он в страхе забивается куда-нибудь в угол и скулит. Кстати, с моим приемником что-то случилось. Что-то там испортилось. Вы не можете посмотреть, Алексей Иванович?

— Хорошая машина, — сказал Алексей. — Фирма. Что может испортиться в японском транзисторном приемнике?

Любимая радиотехническая отвертка всегда в кармане. Граненая изолирующая ручка как раз по руке, длина именно такая, какая нужна, чтобы и крепеж снять, и регулировки крутить...

— Конечно, батарейка не контачит.

Щелкнул выключатель, приемник захрипел, зажужжал, затрещал, и Джек сердито залаял.

— Найдите ему музыку, — сказал художник.

В приемнике загремела забубенная песня «дорогой длинной и ночью лунной...», мужской голос деловито сообщил, что «осуществлен запуск очередного спутника Земли», звонко рассыпались проникновенно-печальные звуки рояля.

— Оставьте это, — попросил художник. — Сентиментальный вальс.

Но Алексей вертел ручку дальше, и раздался сдержанный металлический рокот бас-гитары и пронзительные дроби ударника.

— Джаз-рок, — сказал он, подстраивая приемник. — Здорово драмс дает.

— Вы любите эту... музыку?

— Я — не очень. Ребята в полку любили. Под нее хорошо схему паять.

Алексей выключил приемник, и оказалось, что на земле нет больше ни одного звука. Последняя моторка куда-то причалила, и внизу расстилалась тоскливая, равнодушная ширь, скованная вечерней тишиной.

— Пропадает река, — сказал художник. — Скоростные суда и моторки губят ее, размывая волной берега.

— Да, да, — подхватила Галя. — Мы сегодня купались, и берег проваливался под ногами. Помнишь, Леша?

— Гранитом бы забрать, — сказал Алексей.

— Гранитом? — ужаснулся художник. — Эту реку? А берег, может, асфальтом залить?

— Можно и асфальтом, но лучше бетоном.

Художник засмеялся, покачал головой и сказал с шутливой грубостью, за которой скрывалась настоящая неприязнь, что Алексею с такими мыслями и вкусами надо немедленно ехать в большой город: там его поймут.

— Простите, мне пора.

Художник поднялся, но, приложив руку к груди, опять сел на скамейку и снова поднялся медленно и осторожно. Алексей впервые заметил, насколько художник бледен и стар.

— Приемничек забыли. Без электроники в этой вашей тишине не проживешь.

Алексей щелкнул выключателем и подал приемник, вновь загремевший, завизжавший и застучавший современной музыкой. Джек вскочил, но не залаял, а потянулся и зевнул. Художник взял транзистор, некоторое время внимательно смотрел на Алексея, потом повертел приемник, рассматривая его с разных сторон, словно какой-то незнакомый предмет неизвестного назначения, и вдруг, неумело размахнувшись, швырнул его вниз. Черная коробка летела под откос, медленно вертясь, и из нее, не переставая, исходили звуки поп-музыки. До реки приемник не долетел. Он упал на твердую пустую полоску берега, и отдаленный удар оказался последним аккордом, музыка прекратилась. Джек, с внимательным любопытством поворачивая морду, проследил за полетом транзистора, вопросительно-удивленно посмотрел на художника и, поняв, что за предметом бежать не надо, почесал ухо и пошел за хозяином.

Галя зашлась от возмущения. Не находя слов, она называла мужа «бессовестным грубияном», «солдафоном», которому место в казарме, невеждой, не умеющим обращаться с культурными людьми.

Ему самому было неловко, и он попытался успокоить себя грубостью и как-то оправдать свою неприязнь к художнику:

— Нервный старик. Ему лечиться надо. В молодости следовало в солдатах послужить. Ручку целует! Старый козел!..

— Ты!.. Ты!..

Галя вскочила, с невиданной ненавистью глядя на мужа. Алексей даже подумал, что она его сейчас ударит и инстинктивно отшатнулся. Галя скривила рот в презрительно-злой гримасе и пошла прочь.

— Дура, — пробормотал Алексей.

Долгие сумерки переходили в ночь, и лес на том берегу превращался в голубовато-черную стенку с несимметрично расположенными зубцами разной величины.

— Дура баба, — повторил Алексей и, поднявшись со скамейки, побрел к павильону в конце сада. На дверях висел замок. — И не выпьешь в этой проклятой глухомани.

В пустом садике вдруг зажглись гирлянды красных лампочек, и эти огоньки над безлюдными аллеями были растеряны и печальны, как дети, вдруг оставшиеся без взрослых в темном лесу. На соседней аллее появилась шеренга девушек, но тоскливая пустота сада не оживилась. Торопливо промелькнули они, взявшись под руки, невнятно перекликаясь тихими гласными, словно не люди это прошли, а стайка больших белых птиц.

Когда Алексей вернулся домой, тесть и теща были чем-то взволнованы и не заметили, что зять пришел намного позже дочери. Они метались по двору, и лицо у отца имело такое выражение, словно его ударили, но ответить таким же ударом обидчику он почему-то не может и скрывает унижение нелепой ухмылкой, бестолковыми движениями, ненужными словами.

— Это ж такая паскуда! — говорил он о ком-то. — Да ну ее к шутам!

— И как земля таких н-о-оси-ит? — причитала теща.

— Что у вас тут стряслось? Что за чепе?

— Да ну ее к шутам!..

— Петрович, что ли, опять нажрался?

— Петрович-то ладно. Петровича обратно в вытрезвитель увезли. А эта паскуда... Да ну ее к шутам...

— Вы можете сказать, что случилось? — прикрикнул Алексей, и старик наконец рассказал, что другая соседка — Михайловна, вылила через забор несколько ведер кипятку, прямо под вишни.

— Это ж теперь погибли деревья, — сокрушался тесть. — Кипятком по корням!

Алексей сначала не мог понять: зачем это сделано? Может быть, нечаянно? По ошибке?

— От зависти! От злости! — объяснил тесть. — Не может видеть, что мы живем хорошо. Она бы и дом подожгла.

— Еще подожге-е-ет! — горевала теща.

— А вы что смотрите? Да я эту заразу придушу!

Алексей было кинулся со двора, но тесть удержал его: «Не связывайся ты с ней. Еще срок получишь. Она такая паскуда: враз в суд потянёт. Ты же еще и виноватым будешь».

На террасе Галя, отмахиваясь от комаров, гладила белье и громко стучала утюгом. Во время размолвок с мужем она обычно бралась за стирку или за утюг.

Алексей ушел в дом, в спальню, где уже ждала приготовленная на ночь постель с душной периной, и окно было заставлено марлевым щитом. Не зажигая света, он долго сидел здесь, слушая, как надоедливо аккуратно стучит маятник настенных часов, как недовольно бубнят во дворе голоса и звякает ведро... Голоса умолкли, и вдруг тесть крикнул совсем другим тоном: «Михайловна! Ты зашла б когда к нам на чаек. А то и рюмочку сообразим...»

— Что ты сидишь в темноте? — спросила Галя, входя.

— Подожди, не зажигай. Ниночка спит?

— Спит.

— Поднимай ее.

— Куда? Зачем? Ты с ума сошел?

— Поднимай и собирайся сама. Мы сейчас едем!

— Ты с ума сошел!

Галина кинулась к родителям, но Алексей не пустил ее и непреклонно требовал немедленно собираться и ехать. Он не хотел оставаться здесь даже на одну ночь. Нет автобуса — полно попутных машин. Девочке тяжело ехать ночью — можно на некоторое время оставить ее здесь...

— Тогда и я останусь здесь с ней. Пока. А ты, если не можешь подождать даже до утра — поезжай один.

— Один? Без тебя?

Со времени свадьбы Алексей расставался с женой

лишь на время дежурства, учений и командировок и не представлял себе, что можно уехать куда-то одному и начинать там какую-то невероятную одинокую жизнь. И это теперь, когда он остался без армии, без друзей, без любимого дела, Галина хочет отправить его одного!

— Ты хочешь остаться?

— Пока... Ты же сам...

— Нет. Не пока. Если ты не поедешь сейчас, то не приезжай никогда!

— Что это ты вдруг?

— Все! Нет у меня жены!

Алексей выдвинул из-под кровати чемодан и побросал в него костюм, ботинки, пальто, справочник радиоинженера, логарифмическую линейку... Галина хотела помочь или, вернее, помешать, но он грубо отталкивал ее. Пытались вмешаться родители, но Алексей резко сказал им: «Не ваше дело!»

— Неужели ты так и уйдешь? — спросила Галина, когда Алексей поцеловал спящую дочь и надел пиджак.

— Так и уйду. Мне не нужна жена, которая не идет со мной.

И со старым офицерским чемоданом в руках он вышел из дома.

Ночь была лунная, тихая, прохладная.

В эту ночь умер художник.

Во всех газетах были помещены фотографии художника в траурной рамке и некрологи с десятками подписей. Алексей прочитал некролог в городе, в медпункте большого научно-исследовательского института, ожидая приема. Работа в институте требовала здоровья, и каждый кандидат должен был пройти осмотр у здешнего врача.

Улыбчивая женщина-доктор, лет сорока пяти, привыкшая к спокойной работе с молодыми, редко болеющими сотрудниками, сказала:

— Зачем же вы так, молодой человек? По снегу ходите? Ноги, вот, поморозили?

— Так уж получилось, — в тон ей ответил Алексей.

— Разденьтесь и ложитесь. Трусики тоже придется снять: такие уж мы, врачи, любопытные. Так... Отведите ногу в сторону...

Женщина сжала губы, пряча улыбку, и опытными мягкими пальцами нащупала что-то в паху. Алексей заметил, как расслабились и обмякли смешливые морщинки в уголках ее глаз и озабоченно округлился рот.

— Давай-ка, дружок, теперь левую посмотрим. Да-а... Пульса практически нет.

Она села за стол лицом к Бывальщикову и сказала усталым голосом:

— Сосуды у вас плохие. Вы можете остаться без ноги, а то и без обоих. Чтобы этого не произошло, вам надо вести очень осторожную жизнь...

Она сказала, что нельзя волноваться, нельзя утомляться, нельзя охлаждаться, нельзя перегреваться... Сказала, что в этом институте работать ему категорически противопоказано: здесь всегда специальные заказы, полигонные испытания, вечно какие-нибудь досрочные обязательства и запарка с планом, сотрудники иногда по нескольку суток не выходят из лабораторий...

— И вообще, тебе лучше жить не в большом городе, а где-нибудь в тишине. Нет у тебя такой возможности? Одевайся, одевайся, — хватит красоваться... Да. Где-нибудь в тишине...

День был дождливый, нудный. В серых высоких домах, несмотря на раннее время, зажгли свет, и на ярко освещенных экранах учрежденческих голых окон административные девушки склонялись над пишущими машинками, и усталые мужчины листали папки входящих и исходящих.

Алексей остановился возле магазина «Вино — воды». К нему подошел некто небритый, с воспаленными глазами и предложил «разлить».

— Я тебе, гад, разолью, — с тихой яростью ответил Алексей. — Нажрался, сволочь, с утра, а работает за тебя кто? Тамбовский волк?

— Ты чего? Ты чего? У меня отгул.

— Загул у тебя, а не отгул.

Алексей грубо оттолкнул его и быстро зашагал обратно к институту.

Врач куда-то уходила и запирала на ключ дверь кабинета, когда Алексей снова появился в медпункте. Она встретила его теперь настороженно, без всякой приветливости, как человека, с которым не может быть никаких дел.

— Извините, я должна идти.

— Доктор. Я прошу вас. Если меня не примут сюда на работу, я просто погибну. Мне некуда ехать. У меня никого нет.

Женщина посмотрела ему в глаза, вздохнула и открыла кабинет.

— Что мне с тобой делать-то? — сказала она. — Нельзя же тебе у нас работать. Без ноги останешься. Погибнешь.

— Я скорее погибну, если мне не дадут работать с техникой. Я заболею, сопьюсь...

Алексей торопливо и взволнованно говорил о том, что у него никого и ничего нет, кроме радиоэлектроники, что он больше ничего не знает и не умеет и нет у него нигде никакой тишины. Он говорил, не останавливаясь, боясь, что доктор скажет свое «нет», как только он замолчит, и смотрел на женщину, стараясь и взглядом убедить, и упросить, заставить ее, и чувствовал, что из его глаз действительно изливается какая-то сила, вынуждающая женщину отворачиваться, махать рукой, зябко поеживаться.

— Будет. Будет тебе, — сказала она. — Ох, мужики, мужики! На все можете нас, женщин, уговорить. Пойдешь работать в отдел общей техники. Там хоть полигонных испытаний нет, и по ночам они спят.

Погода не изменилась, и так же моросил дождь, но теперь он приятно охлаждал, а мокрый асфальт сверкал празднично-серебристо. Алексей зашел в тот же магазин и купил бутылку коньяка.

— Теперь можно, — сказал он себе.

Получив коньяк, он пожалел, что не во что завернуть бутылку, и вспомнил о газете, забытой в приемной медпункта. Было досадно: хотел вырезать некролог и хранить его вместе с другими памятными документами. Возвращаться снова в институт он, конечно, не стал, решив, что такую газету всегда можно купить, и по дороге на квартиру спросил в нескольких киосках, но безрезультатно. Не нашел он эту газету и на другой день, а когда начал работать в институте и взял в библиотеке подшивку, то обнаружил, что все номера с некрологом исчезли.

Он еще долго искал некролог, но так и не нашел и из-за этого чувствовал какую-то непонятную вину: как

будто остался должен кому-то и не имеет возможности вернуть долг.

Теперь он снимал комнату, в которой стояла железная кровать и старый стол, и домой не спешил: вечерами оставался в лаборатории, паял схему или читал журналы. В институте было что почитать: и «Радиотехника», и «Приборы и техника эксперимента», и переводные...

Его начальник, лохматый веселый человек, прекрасно знал радиоэлектронику, но считал ее, да и все на свете, за абсолютное ничто в сравнении с хоккеем и поэтому и работал в этом отделе, чтобы оставить вечера для любимого зрелища. Здесь создавалась аппаратура, обычно не требующая бессонных ночей и полигонных испытаний: для торговли, для обучения школьников, для медицины.

— Хочу тебе работенку подкинуть по твоей части, — сказал он Алексею в один из первых дней. — У тебя же сердце больное?

— Нет. Сосуды.

— В общем, это все равно. Есть один доктор-чудак: хоккея не признает... Да... Он делает какой-то прибор для лечения сердца, а инженер, который с ним работал, перешел на другой объект. В общем, доктор тебе объяснит. Ты за кого болеешь. За своих? За ЦСКА? Конюшня не подведет. А с доктором ты поладишь. Содружество медицины и радиоэлектроники — это научно-техническая революция в действии. Поможешь ему техзадание сочинить и подпишешь во всех инстанциях. Это элементарно: от стола к столу, бумагу в зубы — и на выход. Следующим шагом будет внедрение электроники в хоккей. Давай, Леша, сделаем прибор для автоматической регистрации взятия ворот и для фиксации «айсинга»...

Над прибором работали в медицинском институте, в маленькой лаборатории — узкой комнате в одно окно, где был письменный стол, заваленный журналами регистрации экспериментов, стойка с аппаратурой и еще какой-то странный длинный стол.

— А это что у вас за штука? — спросил Алексей.

— Эта штука снится собакам в кошмарных снах, — сказал доктор.

Его звали Виктор Михайлович. Подвижный, преж-

девременно седеющий брюнет с живым меняющимся лицом, он напоминал увлекающегося мальчишку.

— Хотите просто? Давайте просто,— говорил он о приборе.— Когда у вас барахлят часы, вы зачем-то встряхиваете их или даже бьете по ним, и смотришь — ход восстанавливается.

— Это только на нервной почве. Если контакт плохой — надо лезть в схему и паять. Бывает, конечно, если некогда, засадишь кулаком по блоку...

— А что я говорю? Как ни странно, нечто похожее мы делаем и с сердцем. Когда оно начинает, будем говорить, давать сбои, и пульс делается неровным, аритмичным, оказывается, надо встряхнуть сердце, ударить по нему. Только ударять надо не кулаком, скажем, а электрическим импульсом. Несколько киловольт...

Для этого и был необходим прибор.

— Такие машинки есть, — говорил доктор, — но я хочу изменить форму импульса...

Он рисовал импульс на каком-то исписанном листке бумаги, и Алексей успокаивал его: «Такую картинку я сделаю...»

Пока они с доктором сидели за столом, красивая большеглазая девушка возилась возле стола-топчана, о котором было сказано, что собаки «видят его в кошмарных снах». И теперь какой-то пес тоскливо повизгивал там, в углу. Его положили на стол и привязывали.

— Сейчас я вам покажу аппаратуру в действии,— сказал доктор, поднимаясь.

Алексей повернулся вслед за ним и увидел Джека. Пес лежал в неестественной позе: кверху животом, почти голым, неприкрытым шерстью; неподвижно, обреченно раскинув лапы, тоскливо мерцая сузившимися потемневшими глазами. По этим глазам, сохранившим еще шоколадно-янтарный отблеск и не потерявшим своей мудрости, затуманенной теперь смертной тоской, Алексей и узнал собаку. Пес тоскливо заскулил: наверное, тоже вспомнил тихий вечер над рекой, и сестра быстро натянула ему на морду наркозную маску.

— Вы можете не смотреть на это,— сказал Виктор Михайлович, заметив, по-видимому, смятение инженера.

— Я офицер. Хоть и бывший...

Алексей вплотную подошел к столу и, не отворачи-

ваясь, в упор смотрел на бесстыдно-беспомощно распяленные короткие лапы валлийского корги, на его беззащитный живот, на серебристо-коричневый воротник густой шерсти на шее, который с несомненной убедительностью подтверждал, что на столе именно Джек.

— Откуда эта собака? Городская, наверное?

— По всей области вылавливают,— ответила медсестра.

Включили электрокардиограф, зашуршала и поползла лента с кардиограммой собаки.

— Сейчас мы убьем ее,— сказал Виктор Михайлович.— Валек, дай шоковый импульс.

Сестра нажала кнопку прибора, собака дернулась и застыла. Лента продолжала выползать из электрокардиографа, свиваясь в шуршащие кольца, но теперь перо вычерчивало безжизненную прямую. Собачье сердце остановилось.

— А теперь воскресим с помощью нашего аппарата. Дайте максимальный импульс.

Щелчок кнопки — и собака вдруг слабо взвизгнула, а на ленте электрокардиограммы вновь появились повторяющиеся колокольчики.

— Теперь снова убьем. Так. Для оживления дайте импульс на полкиловольта меньше...

Алексей насчитал тринадцать смертей и воскрешений собаки, а на четырнадцатый раз, когда оживляющий импульс был самый слабый, собака не взвизгнула, перо электрокардиографа оставалось неподвижным, и медсестра, презрительно зажав углом пухлых губ сигарету, ловко сбросила труп в большой бумажный пакет.

— И так до бесконечности,— сказал доктор.— Если бы сделать форму такой, как я вам показал, то можно уменьшить пороговое напряжение. Практически это означает, что мы будем спасать человека наверняка и в то же время не вызовем излишней травмы тканей.

— А куда вы деваете этих... убитых собак?

— Слышишь, Валентина? Алексей Иванович тоже интересуется собачьими похоронами. Почти каждый новый человек задает нам этот вопрос.

— Их вывозят на городскую свалку и закапывают,— объяснила сестра, и в голосе и в больших, по-женски серьезных, ее глазах было презрительное удивление:

как это мужчина может интересоваться пустяками, когда перед ним такая красивая девушка?

— Вы помните, недавно умер художник? — спросил Алексей доктора.

— А! А! Этот пейзажист? Цветное фото? Я к такому искусству отношусь скептически. Да и вообще, читаю только фантастику и военные мемуары. Давай, Валек, следующего пса. Больные не хотят ждать. А что вы хотели о художнике?

— Так... Ничего. Просто вспомнил. Недавно прочитал в газете.

— Это, знаете, хорошо, конечно, сидеть где-нибудь в тишине над речкой, упиваться красотой и невежеством и воспевать прелести старой деревни. Я тоже, когда попадаю куда-нибудь за город, где петухи поют и ветви яблони царапают по крыше террасы, так прямо таю сердцем. Так бы, кажется, лег здесь, под кустом сирени и смотрел бы в небо и слушал жаворонка пенье и колыханье трав... Да... Однако хочется жить с людьми и для людей. Вот и не жалеешь себя. Готов, Валюша.

Сестра ввела на веревке какую-то рыжую дворнягу, с тоскливым недоумением оглядывающую людей, приборы и страшный стол.

— Почему они такие покорные? — удивился Алексей.— Не сопротивляются.

— Сознательные, — пошутил доктор. — Добровольно жертвуют собой...

— Я их готовлю наркотиками,— сказала Валя.

— А теперь мы попробуем еще одну форму импульса, — сказал доктор. — Это очень интересно, Алексей Иванович.

Алексей сказал, что он спешит и не может остаться.

— Футбол хотите посмотреть?

— Нет... Так... Дела.

— В «Центральном» новый итальянский фильм идет,— сказала Валя, привязывая собаку.— Вы не видели, Алексей Иванович?

Алексей попрощался и вышел.

В окне коридора, открытом на задний двор, он увидел мусороуборочную машину. Водитель только что поставил на платформу один зеленый ящик и зацеплял крюк за другой. Ящики были обычные, такие же, какие

стоят во дворах, но здесь они были погружены в специальную яму, закрывающуюся металлической крышкой, и приходилось нагибаться, чтобы зацепить крюк подъемника за ящик. В это время сюда как раз подошел санитар в кепке, белом халате и сапогах. Он принес большой бумажный пакет, такой же, в какой в магазинах насыпают крупу и сахар, только в этот можно было положить и человека. День заканчивался тяжелой безветренной хмурью, краски теряли яркость, и листва дворовых тополей не отличалась цветом от грязно-зеленых бортов мусорных ящиков.

Бывальщиков, будто совершая давно задуманное, решительно вышел на улицу и сел в троллейбус, идущий к вокзалу. Здесь он нашел многострочную голубую таблицу расписания поездов дальнего следования и долго вчитывался в столбики цифр, смотрел на часы и снова искал подходящий поезд в расписании. Через какие-нибудь несколько часов можно было оказаться на пустынном перроне небольшой станции под круглыми часами, выйти на заросшую травой площадь, найти попутную машину и ехать туда, где скамейка на краю обрыва над большой спокойной рекой и рядом с Галей добрый, старый человек с умной красивой собакой.

Алексей вошел в кассовый зал. Возле нужного окошечка не было никакой очереди: только одна женщина уговаривала о чем-то кассиршу. Пройдя несколько раз мимо кассы, Алексей вышел на перрон. Начался небольшой дождь, и рельсы, уходя, терялись в дымном тумане.

— Галя! — сказал Алексей, обращаясь к этому влажному темнеющему простору.— Галочка! Я не могу больше без тебя! Не могу! Где ты, Галя?

Со страхом оглянувшись и убедившись, что его никто не слышал, Бывальщиков снова вышел на вокзальную площадь, некоторое время раздумывал возле троллейбусной остановки и, наконец, сел в троллейбус.

Он вышел возле трехэтажного здания красного кирпича, почти все окна которого были закрыты матовыми стеклами, а из дверей выходили медленные, добродушные, румяные мужчины с портфелями и сумками в руках.

— Как парок? — спросил Алексей одного распаренного, расслабленного, снявшего кепку и подставляв-

шего горячую голову начавшемуся мелкому дождику.

— Что ты! Сила пар! Не нужна твоя сауна. Веришь? На полке под ногами лист шуршит, как в лесу. Настоящий сухой пар. Поиял?

В раздевалке было нешумно и иемиоголюдно. На весах стоял голый рослый широкотелый и мускулистый пареиь.

— Еще полкило надо скинуть,— сказал он и, сойдя с весов, сел прямо на паркетиый пол, ие очеиь чистый, ио хорошо выметенный и вытертый.

Этот голый пареиь сидел, откинувшись, оперевшись иа руки за спиной, и рассказывал, что он занимается классической борьбой и сбрасывает вес перед соревиованиями.

— Веиичек сделаешь, отец? — спросил Алексей банщика.

— Найдем. Как же ие иайти? — засуетился тот.— Какой прикажете? Березовый? Дубовый? У меия и можжевеловый имеется.

Старик баищик с совершенио лысой головой, покрытой крупиыми каплями пота, двигался и говорил с преувеличеииой почтительиостью к каждому посетителю, с желанием ие только услужить, ио и прислужить, и ие было в этом ничего постыдиого и унизительного, ие было даже и неприятиого иапряженного труда с целью заработать: просто люди поступают по взаимному согласию.

— Отец, простыику! — крикнул длиииоволосый пареиь, вышедший из мыльиой.

— Пожалуйста, молодой человек. Я и пивка вам приготовил, как изволили приказать.

Пареиь укутался в простыию, взял двумя руками трехлитровую баику с пивом и жадными глотками отпил сразу чуть ли ие половииу.

— Много у тебя начальников, отец,— сказал Алексей.

— Только поворачиваться успеваю. Вам пивка приготовить? У вас и мочалки, мыла нет?

— Что ои сюда мыться, что ли, пришел? — засмеялись иа скамейках.— Дома вымоется.

В мыльиой Алексей приготовил веиик — сиачала размочил в холодной воде, потом распарил и сразу прошел в париую.

Внизу здесь стоял крепкий светловолосый паренек и кричал кому-то на полке:

— Эй, мужик! Ты что? Париться или брызгаться пришел?

— Давай-ка, старшина, выметем, высушим и попаримся, как положено.

— А откуда знаешь, что я старшина?

— Я старый солдат. Вижу насквозь и даже глубже.

— Слезай с полки, мужики! — скомандовал старшина, и они с Алексеем взяли метелки и принялись сметать с полок распаренные листья, опавшие с веников.

К ним присоединился какой-то высокий детина, остриженный наголо и со стандартной татуировкой на груди: «Не забуду мать родную». Втроем они вымели полки, залили их водой и открыли дверь, чтобы парная просохла. В открытую дверь сунулись тонколицые смуглые юноши с белыми незагоревшими полосками на бедрах.

— Как раз свежий парок,— сказал один из них.

— Ага! Для вас приготовили! Поворачивай отсюда! — зарычал на них стриженый.

— Собственно говоря,— начал было загоревший, но остриженный его перебил:

— Закрой хлебальник, а то метлу проглотишь!

— Вообще говоря, они правы,— примирительно сказал другой загоревший.— Пусть просохнет.

— Чего ты на них взъелся? — спросил Алексей.

— Хиппари сопливые. Им не париться, а дерьмо через соломинку сосать.

Старшина поднялся на полку и сказал, что можно лезть. Стриженый налил черпак горячей воды и ловко — видно, опыт имел — плеснул на камень. Громыхнул пар, и старшина на полке пригнулся: «Хорош!»

— Сначала полежим, погреемся,— сказал стриженый.— Вениками не будем махать.

Они втроем легли на верхнюю полку, сухую и горячую, касаясь друг друга теплыми мягкими телами. Густой сухой пар перцем продирал рот и нос и тяжелым жаром выдавливал из тела влагу, усталость и тоску.

— Ну и жара,— сказал старшина.— Как в бане.

Смуглые юноши снова появились внизу и робко смотрели на полку.

— Пускай лезут, — сказал Алексей. — Место есть.

— Куда им, хиппарям, такой пар! Растают — соплей не соберешь.

— Лезьте, ребята.— сказал старшина.— Здесь не жарко. Градусов двести — не больше.

Юноши вежливо засмеялись, начали подниматься, но уже со второй ступени двое повернули обратно. Третий же храбро добрался до верхней полки и демонстративно стоял, широко открывая рот и тяжело дыша. На уровне его головы температура была намного выше, чем на полке, и Алексей не представлял, как этот паренек выдерживает.

— Ладно, не пижонь, ложись.

Тот еще немного поломался, постоял и лег рядом со стриженым.

— В Забайкалье я парился по-черному,— сказал юноша.

— Бывал там? — спросил стриженый и подвинулся.

— Знаете, у нас есть эвкалиптовый экстракт,— сказал другой юноша снизу.

— У меня от него аллергия,— сказал стриженый.— С кваском бы.

— Есть. Есть у нас квас,— радостно засуетились юноши.

— Поддавать-то умеете? — спросил старшина.

Они умели: смешали квас с горячей водой в черпаке, открыли заслонку и плеснули на камень. Вкусный хлебный аромат плотно заполнил парную. Начали работать вениками: сначала лишь слегка погладить себя распаренными листьями, чтобы загорелась, зарадовалась кожа, потом дать как следует, чтобы горячий пар, прибитый веником, вышиб из тела влагу до последней капли.

— Выходи, проклятая зараза сорокаградусная, — приговаривал кто-то, беспощадно хлеща себя по спине.

— А она и говорит, — отвечали ему, — уйти—уйду, а потом опять войду.

— Эй, мужик, поддай! — кричали внизу.

— Вчера поддал.

Алексей совершил несколько циклов, состоявших из жаркой полки с веником, ледяного душа, под которым долго приходилось стоять, пока чувствуешь успокаивающий холод, и снова горячей парной. После душа вой-

дешь в парную, крикнешь: «Людей много — пару мало!», поддашь так, что полка в момент пустеет, и паришься до сладострастного изнеможения.

В раздевалке высохшим до шепота голосом попросил простыню, и банщик сам умело набросил на него полотно и закутал: «Позвольте! Сделаю, как положено. Пивко вам, пожалуйте».

Алексей не выпил, а выплеснул в себя залпом первую кружку, взял другую и, отпив половину, только теперь почувствовал искристый горький вкус напитка. Напротив него на скамейке пили пиво, закусывая какой-то широкой соленой рыбой, знакомые смуглые юноши. К ним подсел стриженый парень с татуировкой «Не забуду мать родную», и они наперебой угощали его, объясняя, что «вкусовые качества лучше, чем у семги».

Рядом с Алексеем двое друзей говорили о доме и о работе:

— Моя Симка баба неплохая, но другой раз...

— А я ему говорю: здесь нема делов. Тут точить, тут фрезеровать...

Заметив взгляд Алексея, один из друзей подмигнул, улыбнулся и сказал:

— Только в бане и можно спокойно посидеть без баб. Верно? Плеснуть тебе?

— Спасибо, ребят. Я из такой дикой глуши приехал, что забыл, как и пиво-то пахнет.

— А мы проклятую взяли. Дома бабы не дадут. Твоя как?

— Я сейчас холостякую. Отправил ее в ссылку в деревню за провинность. Покуда не исправится.

Домой Алексей пришел успокоенный и усталый, но не лег сразу спать, а достал справочник и логарифмическую линейку и начертил небольшую схему.

— Контур — есть контур,— сказал он.— Ладно, доктор. Хоть ты и пижон, а сделаю я тебе импульс. Такой импульс сделаю, колом не выбьешь.

Накануне дня, назначенного для испытания прибора на человеке, Алексей увидел во сне Галю... Сначала она появилась, освещенная бледным осенним светом, и сама бледная, в каком-то незнакомом сиреневом платье. Галя проходила мимо, не замечая его, грустная, далекая. Толпа людей с неразличимыми лицами пестре-

ла за ней, на заднем плане. Их Галя тоже не замечала. Она думала о чем-то печальном и медленно проходила мимо.

Потом он увидел ее за большим праздничным столом, где много незнакомых людей молча пили и ели, а Галя сидела почему-то не рядом, а напротив, чуть наискосок, и Алексей чувствовал какое-то мощное жизнетворное силовое поле, исходящее от нее, ощущал каждое ее движение и знал, что если Галя выйдет сейчас из комнаты, то поле ослабнет, и он, лишенный сил, наверное, умрет, и когда Галя поднялась и пошла к двери, он закричал от страха и проснулся с бешено колотящимся сердцем.

* * *

Виктор Михайлович заехал в институт сразу с утра. Желтая кургузая коробка автомобиля «Скорой помощи», пользуясь своими привилегиями, мчалась по неприкосновенной середине улицы. В машине, кроме Виктора Михайловича, Алексей увидел знакомую Валю и еще одну медсестру, серьезную и молчаливую. Ночной сон остался в груди саднящим горьковато-ароматным осадком и, встретившись взглядом с внимательно-спокойными, большими, почти круглыми глазами Валентины, Алексей почувствовал, что это томительное напряжение вдруг ослабло, превратившись в дерзкую уверенность. Как будто Галя явилась к нему во сне, чтобы напомнить, что он мужчина, что не только можно, но даже и необходимо улыбаться и подмигивать Вале, спрашивать «о молодой личной жизни», выяснить, смотрела ли она новый итальянский фильм, вызывать шуточную ревность доктора: «Алексей Иваныч, будем серьезно конфликтовать».

— Все равно я вам не нравлюсь, Виктор Михайлович.

— Нет, золотко, ты мне нравишься, только эти клипсы тебе не к лицу.

— И все-то вы придираетесь. Вот Алексею Ивановичу нравится.

За окнами машины буйствовал солнечный летний город, внутри, на почетном месте стоял новый аппарат — металлическая коробка спокойного серо-голубого цвета, выполненная по последней моде современного

приборостроения: приземистая форма, острые углы, удобно-наклонное положение на столе, чтобы передняя панель смотрела в лицо, как фото из настольной рамки, пустые гладкие плоскости стенок, освобожденные от всего лишнего, необязательного; разбежались по дуге тонкими ресничками деления шкалы измерительного прибора, в напряженно-неподвижной готовности замерли черная и красная кнопки.

— Нарушим? — спросила Валя, доставая сигарету.

— Нарушай, Валек. Я завязал, как и Алексей Иваныч.

— Смотри, Тоська, какие у нас мужчины! Непьющие, некурящие, негулящие.

— Преувеличиваете,— сказал Алексей.

— А вы, значит, пьете? А может быть, и гуляете?

— Почему-то любовь всегда ставят в один ряд с пороками,— сказал Виктор Михайлович.

— Какая там любовь,— пренебрежительно сказала Валя.— Любовь — это маскировка для импотентов.

— Ой, Валька! Как не стыдно? — возмутилась Тося.

— А что? Разве не так?

И Валя смотрела на Алексея внимательными изучающими глазами.

Когда приехали в больницу и начали выгружаться, Алексей хотел вынести аппарат, но Валя возражала («Это моя обязанность»), и они оба нагнулись одновременно, их лица сблизились. Естественным и необходимым продолжением этого движения было бы сильное, даже, может быть, грубое мужское объятие, долгий крепкий поцелуй в мягкую пахучую шею, потом в губы... И Алексей знал, что Валя не противилась бы, но оба делали вид, что больше всего их волнует вопрос о том, кто понесет аппарат.

— Нет, нет, Алексей Иванович, это моя функция.

— Пусть сама несет,— вмешался Виктор Михайлович.— Она физкультурница у нас, да дефибриллятор и весит-то пустяки. Итак, Алексей Иванович, сейчас мы опробуем ваш импульс...

Он объяснил, что им предстоит проделать так называемую «плановую дефибрилляцию», то есть процедуру над больными, находящимися в больнице именно для этой цели. Главная же задача аппарата — помогать людям, у которых неожиданно произошла катастрофа

с сердцем. «Это мы с вами как-нибудь иочку подежурим в «Скорой помощи»,— сказал доктор.— Если, конечно, сегодня все будет в порядке».

— Что может быть не в порядке с этим ящиком? — удивился Алексей.— Элементарный коитур. Посмотрели бы вы на радиолокационную станцию.

Для проведения процедуры отвели специальную палату с кушеткой и белыми столами. Медицинская бригада работала быстро, четко и без суеты. Расставили приборы, проверили напряжение сети, включили аппарат, приготовили инструменты и препараты. Работали, как боевой расчет стаиции на учеииях. Ждали больного, но сначала в палату зашел главный врач с каким-то начальником из горздравотдела, высоким, сухощавым, пристально вглядывающимся, недоверчиво улыбающимся.

Доктор многословио и торопливо начал объясиять преимущества новой формы импульса, но начальник перебил его:

— Не знаю я ваших синусов-косинусов. Делайте, что вам там запланировано.

Алексей ощущал привычиое состояние встречи высшего начальства, плохо разбирающегося в существе дела, но тем не менее проявляющего строгость и требовательность. Приезжали иногда инспектора на станцию и, пропуская мимо ушей непонятные им объясиения о разрешающей способности и крутизне фронта, грозно и грубо выговаривали за пыль иа блоках и за опоздание из увольнения сержанта Петрова. Бывальщиков выслушивал замечания спокойно и серьезно, даже в блокнотик записывал, и говорил и делал все, что нужно для того, чтобы инспектора уехали довольиые и не помешали дальнейшей работе. И сейчас ои по привычке стоял в положении «смирно» и внимательио слушал начальника из горздравотдела.

— А вы кто? — спросил тот.

— Инженер Бывальщиков из НИИ. Участвовал в разработке аппарата,— четко ответил Алексей.

— Тоже диссертацию пишете?

Не дождавшись ответа, начальник вышел из палаты и в коридоре громко сказал главному врачу:

— Они себе диссертации пишут, а о людях не думают.

— Дай-ка мне, Валюша, сигарету,— сказал доктор.— Разве тут бросишь?

— Да-а,— посочувствовал Алексей.— В полку, бывало, тоже вот так приедут...

— Бросить все к черту, уехать куда-нибудь в тишину, выписывать в районной поликлинике таблетки от головной боли, гусей развести,— говорил доктор, крепко и часто затягиваясь сигаретой.— Так ведь не бросишь лечить людей только из-за того, что начальником назначили идиота.

Вошел больной — молодой человек, робко и виновато улыбающийся: вот, мол, доставил хлопоты людям. Представился скромно: Слава. Доктор уложил его на кушетку и расспрашивал о жизни, о самочувствии.

— Что это у тебя, Слава, глаза красные? Ты ничего не пил вчера?

— Нет,— смущенно отвечал Слава.— Мне же нельзя. Я знаю.

— Глаза явно воспалены.

— Это от волнения.

У Вали все было готово к процедуре, и она ожидала ее начала так же спокойно, как ожидала бы, например, начала киносеанса.

Она говорила с Тосей о каком-то фильме, поглядывая на Алексея не то обещающе, не то вопросительно.

— А вам идет белый халат, Алексей Иваныч,— сказала она.

— Мне идет офицерский мундир.

— Тося, укол, Валя, наркоз,— скомандовал Виктор Михайлович, и процедура началась.

Слава лежал, все так же смущенно улыбаясь, доктор включил электрокардиограф, и на голубой сетчатой ленте четко обозначились признаки болезни: острые высокие всплески на кардиограмме повторялись нерегулярно, раздражая глаза, привыкшие к правильным интервалам линеек, окон, телеграфных столбов.

— Смотрите, Алексей Иванович: типичные признаки аритмии видны, как говорится, невооруженным глазом...

Валя склонилась сзади над головой больного и прижала к его лицу наркозную маску:

— Слава, ты спишь? — спрашивала она.— Слава, открой глаза. Слава, ты меня слышишь? Слава... Все. Заснул.

Тося налаживала электроды. Один — металлический круг — под спину больного, другой — такой же круг, сверкающий зеркальной полировкой, но с ручкой, как у вагонного буфера,— на грудь. Валя стояла у открытого окна, где громоздились старые деревья с темными таинственными провалами, с серебристыми чешуйками волнующейся листвы, с красновато-золотистыми вспышками солнца на вершинах. Остро и тревожно пахло медицинским спиртом и еще какими-то препаратами; из-за этого запаха, напоминающего о болезнях и смертях, становилось неспокойно, и, когда доктор сказал: «Пускайте ваш импульс на сердце, Алексей Иваныч», Бывальщиков растерянно замялся, со стыдом чувствуя нелепый страх.

— Тогда, если позволите, я сам разрежу ленточку,— сказал Виктор Михайлович.

Ассистентка с силой прижала электрод к груди больного, сказала: «Готово!», но еще до того, как было произнесено это слово, ее сигнальный кивок и взгляд были приняты доктором, и Виктор Михайлович нажал главную красную кнопку на панели аппарата. Команда медсестры «Готово!» потерялась в гулком щелчке, похожем на звук, возникающий при включении телевизора. Вспыхнула краткая желтая молния внутри аппарата, больной высоко подпрыгнул, будто решил вдруг сесть, и слегка вскрикнул, словно ему приснился страшный сон. Снова упав на кушетку, он продолжал спать. Виктор Михайлович бросился к электрокардиографу, продолжавшему равнодушно выпускать ленту и рисовать на ней синие зубцы и впадины.

— Нет ритма. Повторим еще.

Голос его был деланно спокоен: так говорят на трамвайной остановке, измучавшись ожиданием: «Опять не наш. Что же, подождем еще».

— Импульс-то ведь в порядке,— взволновался Алексей.— Я проверял: колом не выбьешь.

— Подождите вы с импульсом!

Доктор стал непривычно грубым потому, что больной стал плохим, и Валя доложила: «Нет пульса!»

— Кислород! — скомандовал Виктор Михайлович, и Тося сунула в рот больному трубку.

Валя ласковыми пощечинами массировала его лицо. Алексей почувствовал постыдную дрожь в коленях и

тошноту и напрягся, стараясь скрыть и преодолеть эту позорную слабость.

— Есть пульс,— сказала Валя.

— Ну вот,— сказал доктор, как будто успокаивая кого-то, испугавшегося пустяка. — Теперь повторим. Поднимем на полкиловольтика? А? Алексей Иванович?

Алексей не знал, что ответить, и со стыдом понял, что доктор заметил его смятение.

— Значит, поднимем? Договорились. А вы, Алексей Иванович, можете выйти в коридор, если здесь вам... э-э-э... душно.

— Мне не душно. Я должен видеть аппарат в действии.

Он подошел вплотную к больному, туда, где стояла Валя, и, почти касаясь ее плечом, в упор смотрел на лицо больного, странно усталое в наркотическом сне.

— Ладно уж храбриться-то,— сказала Валя вполголоса.— Сам зеленый, как мертвец.

Алексей торопливо искал какие-нибудь сильные и злые слова в ответ, но ничего не мог придумать, и из-за этого Валя становилась ненавистной и одновременно радостно-близкой. Из женщины, почти незнакомой, она превращалась в такую, которой можно сказать грубость, которую можно толкнуть локтем, шлепнуть или поцеловать. «Ну, смотри, девка», — прошептал он. «Не пугай. Уже видела», — ответила Валя.

Процедура повторялась. Вновь Тося прижала электрод к груди больного, доктор нажал кнопку, вспыхнула молния внутри аппарата, и Слава подпрыгнул и сонно вскрикнул. Доктор поспешил к электрокардиографу, продолжавшему выпускать голубую сетчатую ленту и выводить на ней темно-синюю зубчатую линию, и воскликнул: «Есть синусный ритм!» Только на это первое мгновение открылась его радость, и сразу же лицо его приняло обычное иронически-равнодушное выражение пожилого мальчика. Доктор отошел к окну, потягиваясь и даже позевывая: «Вот, мол, какая простая и скучная работа у меня». Но ему не удалось остаться равнодушно-спокойным.

Валя вдруг отчаянно крикнула:

— Аппарат горит!

Доктор даже не побежал, не ринулся, а одним невероятным прыжком достиг аппарата, над которым

густо курился голубой дым. Дымилась сигарета, оставленная доктором на краешке стола рядом с аппаратом, и, подняв ее, Виктор Михайлович грозил кулаком девушкам и с притворной яростью шевелил губами, будто бы произнося беззвучную брань. Валя хохотала и крепкими пощечинами будила больного.

— Ну, как, Слава? — спросил доктор.— Что ты чувствовал?

— Было немножко тепло.

— Вот видите, Алексей Иванович, что значит новая форма импульса! Никакого травмирования. Вы сделали прекрасный аппарат.

— Да что там... Да какой там,— застеснялся Алексей.— Контур — есть контур.

— Только нос не задирайте,— снова продолжила Валя начавшуюся игру, и поддерживающую, и усиливающую возникшее острое чувство, соединяющее в себе и мужское желание и злость.

Славу унесли в палату — через день-другой он должен был выйти из больницы со здоровым сердцем, и пригласили второго пациента. Вошла невысокая женщина лет тридцати в ярком золотисто-красном халате: женщины и в больнице думают о нарядах и не любят казенной одежды. Быстрыми мелкими шагами она подошла к кушетке, повернулась лицом к людям в белых халатах и одним движением сбросила свое цветастое одеяние. На ней остались лишь короткие светлые полупрозрачные трусики, и Алексей почувствовал горячую волну, обдавшую его с ног до головы, испуганно отвел глаза, но тут же вспомнил, что на нем белый халат, и в данном случае ему, как медику, неприлично отворачиваться. Женщина переводила взгляд с одного на другого, ища и вопрошая, кто же здесь главный спаситель, умоляя, убеждая, требуя вернуть здоровое сердце ей, такой стройной, нежнотелой, готовой к страсти, к любви, к счастью. В движении, которым она сбросила халат, в ее несколько расставленных изящных ногах с легкими редкими царапинами темных волос, в наклоне тела назад, поднимающем и напрягающем высокие груди, во всем этом была трогательная открытость и откровенность. «Посмотрите, какая я,— безмолвно говорила она.— Убедитесь в том, что мне необходимо здоровое, горячее, трепетное сердце!»

— Ах, какая у вас плохая грудь! — сказал доктор.— То есть у вас прекрасная грудь, но именно поэтому она плоха, вернее, не совсем удобна для наших целей.

Действительно, Тосе очень трудно было плотно приложить к телу больной круглый плоский электрод в том месте, где находится женское сердце.

Больная заснула мгновенно, и доктор отметил, что «уж эта-то вчера водку не пила».

Процедура протекала так же: щелчок кнопки, молния, сонный стон пациентки. На этот раз электрокардиограмма приняла нормальный вид после первого же импульса, доктор удовлетворенно пожал плечами («иначе и быть не могло») отошел к окну, и Валя снова закричала: «Аппарат горит». Доктор таким же диким прыжком метнулся к столу и, чертыхаясь, схватил свою дымящуюся сигарету.

Перед тем как уезжать, посидели на скамейке в больничном садике. Валя и доктор курили, и Виктор Михайлович говорил, что «теперь-то уж завяжет железно».

— Хорошо! — сказал Алексей.

Ему было хорошо впервые с того момента, как председатель военно-врачебной комиссии сказал слово «отслужился».

— Хорошо!

— Да,— серьезно согласился доктор.

— Оказывается, и на гражданке есть хорошая работа. У импульса передний фронт надо подправить. Я подберу емкостишку...

— Теперь в «Скорой» подежурим ночку. Попробуем на несчастном случае...

Алексей знал, что должен сказать Вале: «Надо бы нам потолковать кое о чем», и знал, что Валя согласится, но, не раздумывая долго об этом, сразу решил: «Пока не надо!» И просто попрощался.

Дома он нашел телеграмму: «Узнала адрес. Выезжаю восемнадцатого. Целуем. Галя. Нина».

Через несколько дней после приезда жены начальник сказал Алексею, что надо срочно писать отчет о технических и медицинских испытаниях прибора и ни о каком отгуле не могло быть и речи.

— Да. Это не по календарю чемпионата,— объяснялся начальник.— Не по плану. А в Канаду наши едут по плану? С профессионалами играть посложнее, чем с твоим доктором собак бить. В общем, Леша, действуй. Отчет писать очень просто: берется чистая белая бумага...

С утра Алексей сел писать отчет, по телефону записался на прием в горисполком по квартирному вопросу, днем успел добежать до магазина и купить Ниночке туфли, после обеда включил схему, подобрал новый конденсатор для аппарата, хотел поехать в институт к Виктору Михайловичу, но снова вызвал начальник и попросил согласовать с другими отделами техническое задание. («Давай, Леша. От стола к столу, бумагу в зубы — и на выход».) Вернувшись к себе, Алексей снова сел за отчет, но тут же его вызвали в партбюро, как члена комиссии по проверке чего-то. Вместо того чтобы уйти домой пораньше, он решил задержаться на работе часа на полтора, но в конце рабочего дня ему позвонил Виктор Михайлович:

— Имею честь пригласить вас в одну из ближайших ночей на дежурство.

— Куда ехать? Я готов.

— Мы заедем за вами ночью. Вы крепко спите?

— Я же офицер. Правда, бывший...

Потом трубку взяла Валя и посоветовала запастись валерьянкой, а то, мол, «нервишки слабенькие у вас».

— Надеюсь, ты мне поможешь их укрепить?

— Поживем — увидим, если поживем.

Валя рассмеялась и бросила трубку.

Алексей шел по коридору, снова и снова вспоминая голос девушки, дрожащий от сдерживаемого смеха и, наконец, захлебывающийся хохотом. Он улыбался, ошеломленно качал головой, встречающиеся сотрудники, наверное, думали, что вот еще один доработался.

Оставалось спуститься по лестнице и выйти из надоевшей за день напряженности коридоров и лабораторий к радости оранжевого заката над веселой толпой у троллейбусной остановки, к радости ужина с женой и дочкой, но в этот момент Бывальщиков ощутил острую боль в щиколотке правой ноги, настолько острую, что нога подломилась, и пришлось опереться о стену, чтобы не упасть. Такого давно не случалось, и Алексей

в первый момент не понял, что с ним происходит. Стопа горела огнем, идти дальше было невозможно, и не оказалось поблизости стула или скамейки, чтобы присесть, поднять ногу, помассировать, восстановить кровообращение. Боль тоскливой тяжестью отдавалась во всей правой стороне тела и холодной петлей сдавила сердце.

Алексей, опираясь о стену, медленно заковылял на одной ноге к выходу на лестницу. Все шли в том же направлении, обгоняя его, и коридор быстро опустел. Только одна женщина почему-то вошла с лестницы сюда и двигалась навстречу. Алексей с ужасом узнал врача из медпункта — ту самую милую женщину, которая осматривала его при приеме на работу. Он сразу пошел нормальным шагом, полностью ступая на больную ногу, и все его тело запылало от боли, словно наливаемое расплавленным металлом. В ушах звонкими болезненными взрывами стучало сердце.

Алексей поздоровался с врачом, растягивая губы в улыбке, и женщина не заметила его измученного позеленевшего лица: в коридоре было темновато, а вошла она с освещенной солнцем лестницы.

— Как дела, солдат? Ножка не болит? В этом отделе работа, в общем, спокойная. Верно? Шесть часов — и все по домам. Тебе это очень важно — режим...

Алексей соглашался, чувствуя, как расплавленный металл все наполняет и наполняет его ногу, еще немного — и нога разорвется, разбрызгивая жгучие капли.

Наконец врач оставила его, и Алексей, дождавшись, когда она уйдет из коридора, заковылял дальше. На лестнице он сел прямо на ступени, сделав вид, что шнурует ботинки. Кончилась боль так же внезапно, как и началась. Как это обычно бывает после прекращения физического страдания, возникло нечто вроде легкого опьянения — в теле разлилась приятная усталость, голова наполнилась веселым звоном, и хотелось сделать что-то доброе, кого-то обрадовать или успокоить.

Когда он вошел в комнату, жена спрыгнула со стула — что-то вешала над кроватью, и на Алексея смотрела почему-то испуганно и виновато.

— Устраиваешься, Галка? Получим квартиру — куплю тебе деревяшки самые модные.

— Я не знаю... Может быть, тебе не понравится... Он мне давно хотел подарить, а после смерти увидели надпись и отдали мне...

Со стены из рамки с высокого обрыва чистым серым стеклом светилась река, ее ровную пелену натягивала одинокая моторка, поднимавшая тонкие волны, расходящиеся косым оперением: на дальнем берегу темнела голубая стена леса с неравномерно расположенными зубцами разной величины. На краю обрыва лежала пушистая серебристо-коричневая собака и смотрела на Алексея шоколадно-янтарными мудрыми глазами.

— Хорошо,— сказал Алексей.— Кстати, что стало с собакой?

— Она сразу куда-то исчезла. Наверное, украли. Или родные увезли. Чего ты смеешься?

Алексей не мог сдержать счастливой улыбки, вспоминая о том, что теперь снова будет ложиться спать с краю, что теперь снова по ночам его будут поднимать по тревоге, как в полку.

Тарусский ключ

Если идти от городка Тарусы берегом Оки вверх по тропинке, виляющей в высокой траве между прибрежными кустами лозы и заросшей бузиной кручей, то где-то на полдороге к дому отдыха встречается маленький ручеек, сбегающий к реке. Его источник обнаруживается под горой; в вечной прохладной тени бузины и неправдоподобно высоких — выше головы, лопухов бьет родничок. Из квадратного ящика сруба дышит холодом прозрачная, невидимая вода, и жизнь ключа проявляется лишь слабым туманно-волнистым колыханием над бледно-сиреневым с пятнами темной зелени песчаным дном. Иногда здесь оставляют стакан или бутылку, а если нет, то можно просто сорвать лист лопуха, свернуть его и зачерпнуть им воды. Вдыхаешь прохладу подземного ключа, пряность зелени и словно не воду пьешь, а глотаешь острые ломающиеся льдистые куски какого-то животворного вещества.

Вверху на горе, почти как раз над ключом, могила Борисова-Мусатова, горбатого болезненного человека, писавшего удивительные картины, похожие скорее на оперные декорации, чем на российскую действительность начала века, вытолкнувшую его в небытие в тридцать пять лет.

Неподалеку, на реке Тарусе — Ильинский омут, воспетый Паустовским, выше по Оке — усадьба Богимово, где когда-то жил Чехов и потом вспоминал об этих местах в рассказе «Дом с мезонином», а ниже по реке — Поленово, страна золотой осени и заросшего пруда.

Паустовский, рассказавший о здешних лесах и реках, лежит неподалеку, на кладбище Тарусы, старинного русского города.

Таруса, та Русь, та Россия, та исконная вечная земля, державшая и князей, и солдат, и художников, и поэтов. Слышны в этом имени и древние глухие звоны мечей и колоколов, и похрустывание валежника в старом бору, и шелест лозы над Ильинским омутом, и поэтические строки Заболоцкого и Паустовского.

В то лето, когда Олег впервые зачерпнул воды в Тарусском ключе под горой, Таруса была обыкновенным районным центром, запрятавшимся далеко от железной дороги. Тихий городок, где живут преимущественно бабушки, ожидающие на лето внуков из Москвы, где на центральной площади слышен крик петуха и тарахтенье телеги по неровному асфальту и где воруют только цветы.

Поехали сюда, а не на юг или в Прибалтику потому, что близко, потому что выпала всего неделя совместного отпуска, потому что сослуживец по министерству дал адрес своей здешней знакомой и, конечно, потому, что в Тарусе надо побывать. В этом есть особый шик: не в Пицунду, не в Юрмалу и даже не на Клязьму, а просто в Тарусу. Да, да. В Тарусу, где нет ни Домского собора, ни золотого пляжа, ни театра, ни бильярдного зала. Так прийти в ресторан с друзьями, дождаться, когда они закажут себе коньяк и шампанское, шашлыки и осетрину, и спокойно, с особенной любезностью сказать официанту: «Мне, пожалуйста, стакан молока и кусок ржаного хлеба». При этом надо употребить именно слово «ржаной», а не «черный». В этом есть особый шик.

— Надо тебя свозить в заповедник русского искусства, — говорил Олег Николаевич Наташе. — Для твоего дальнейшего развития и совершенствования.

Наташа еще не привыкла быть с ним рядом, и с самого начала поездки Олег Николаевич видел у нее «ночное лицо». Он придумал это выражение, когда в одну из первых ночей вдруг не узнал в подруге скромную чертежницу с недоступно строгим личиком и невинно поджатыми губами. Ночью губы ее расслаблялись в непроизвольной восторженно-счастливой улыбке, и глаза неотрывно смотрели на него, бластящие, совсем не сонные, казавшиеся посветлевшими из-за сузившихся в точку зрачков.

— Опять у тебя ночное лицо, — говорил он. — Рада, что едем?

— Ты... Ты... — задыхалась Наташа. — Ты же знаешь, что я поеду с тобой, куда угодно. Только пальчиком помани.

Она приближала к нему «ночное лицо», и Олег Николаевич ощущал ее учащенное дыхание, похожее на дыханьице ребенка, когда с ним заиграешься. Он знал себе цену и понимал, что чувство Наташи к нему — это «любовь-восхищение». Для нее, скромной чертежницы, затерявшейся за доской конструкторского бюро среди десятков и сотен таких же милых девочек, он — идеал, настоящий мужчина, который может быть и опорой и учителем. Эти девочки мечтают о таком возлюбленном, о таком муже. Еще бы: и в возрасте, и свободен, и эрудирован так, что часами может говорить о красках древних икон или о теории относительности, и не какой-нибудь инженеришка из КБ, каким был недавно, а ответственный работник министерства, зарабатывающий не только на кусок белого хлеба, но и на армянский коньяк.

В Тарусу он прихватил три бутылки армянского, и нельзя было жаловаться, что чемодан тяжел, а идти по указанному адресу от центра городка, где их высадил шофер такси, пришлось довольно далеко, и стояла невыносимая утренняя жара. Они шли по теневой стороне пустынной, заросшей травой улице, часто останавливались, и Наташа жалела его, предлагая не искать «эту неизвестную старуху», а попроситься в первый попавшийся дом.

— Нет. Я оставил адрес в министерстве. В любой момент могут вызвать. Ты же знаешь, без ложной скромности: кроме меня, никто не сможет толковую справку министру написать.

— Знаю, знаю. Ты у меня самый умный...

Улица была искалечена ямами и кучами щебня, свидетельствующими о перспективах благоустройства, но нарушающими зеленую провинциальную патриархальность. Представление о тихой старине нарушалось и аккуратными табличками на многих домах: «Дом образцового содержания и порядка», а возле продовольственного магазина, на мачте висел какой-то корабельный вымпел и плакатик с надписью: «Флаг трудовой славы поднят в честь коллектива магазина № 3, досрочно выполнившего план II квартала».

Старуха, у которой должны были остановиться, оказалась не ожидаемой простовато-добренькой провинциальной бабушкой, а совсем другим человеком. Сухая и высокая, казавшаяся еще выше из-за того, что была одета в длинный светлый халат и из-за того, что стояла на ступенях крыльца и смотрела сверху вниз, она долго разглядывала приехавших, потом устало прикрыла глаза рукой и сказала:

— Пожалуйста, оставайтесь. Можете на террасе спать, можете в комнате. Помощи от меня никакой не ждите: плохо стала видеть.

— Мы, конечно, заплатим, — начал было Олег Николаевич, но старуха перебила:

— Не говорите глупостей.

При этом не было в ее голосе ни любования своей бессребренностью, ни чувства оскорбленного достоинства, а лишь искренняя усталая досада: зачем это люди говорят о пустяках?

Пока открывали чемодан и собирались на прогулку, успели узнать, что Анне Григорьевне — так звали старуху, 82 года, что всю жизнь она проработала врачом-хирургом, что никого из близких у нее не осталось. О том, что два ее сына погибли на фронте, она сказала удивительно спокойно. Не совсем, конечно, равнодушно, но не было в ее голосе уместной неутолимой скорби, а звучала лишь какая-то давняя обида. Так женщина вспоминает о бывшем муже, с которым давно разошлись. С гораздо большей горечью она говорила о том, что стала плохо видеть:

— Умирать еще не хочу. Должна много записать, а глаза подвели. Мне обещали магнитофон приспособить...

— Мемуары, что ли? — поинтересовался Олег Николаевич.

— Какие там мемуары! Кому они нужны? Записи о работе, об операциях. Ведь я более пятидесяти лет лечила людей, из них сорок лет делала хирургические операции. Одних только аппендицитов несколько сот. Разве молодой врач может столько знать?..

Олег Николаевич занимался чемоданом: задвинул его под кровать, но, вспомнив о фотоаппарате, снова достал, старуху почти не слушал и заинтересовался, лишь услыхав слова: «Тридцать седьмой год».

— Простите, я не понял: что в тридцать седьмом?

Анна Григорьевна назвала очень крупного военного и государственного деятеля и сказала, что знает его с тридцать седьмого года.

— Был он юным лейтенантом, слушателем академии Фрунзе, — рассказывала она. — В тридцать седьмом году, в день Красной Армии назначили лыжный кросс и послали их без шинелей, в хромовых сапогах, в тонких перчатках, а мороз был больше двадцати градусов. Да... И многие, конечно, получили обморожения. У моего знакомого пострадала нога. Бурденко хотел ампутировать, а я убедила его, что не надо, что гангрены не будет. Николай Нилыч обругал меня последними словами — он вообще ужасно ругался, и махнул рукой. «Лечи, — говорит, — его сама». И я вылечила. Только два пальчика убрала и то не совсем.

— Вы-то его помните, а он вас?

— Представьте, оказывается, помнит! Сама-то я ни за что бы к нему не пошла, никогда бы не стала напоминать о себе, о чем-то просить... Никогда никого ни о чем не просила. И не понимаю, как можно что-то просить. Если ты честно работаешь, не жалеешь себя для общества, тебе общество всегда даст все, в чем ты действительно нуждаешься... Да... Моя фронтовая подруга пристала, ну чуть ли не в ногах валялась: за ее сына надо было попросить. Он тяжело болел, и квартиру ему не давали. Пришлось пойти к нему на прием. Сразу меня узнал. Сказал: «Я вас помню, доктор». Мне было очень неудобно его просить, но он меня успокоил: сказал, что все прекрасно понимает, что его самого родственники просьбами замучили. Да... Помог. Тут же выдали ордер этому больному человеку.

О муже Анна Григорьевна сказала, что он умер вскоре после войны.

— Муж, дети — все это было так давно, что я уже и забыла. Чем больше живешь, тем лучше понимаешь, что только исполнение долга перед обществом дает и силы жить, и настоящее счастье.

Слова Анны Григорьевны, ее величественная прямая фигура, сухое лицо, которое не назовешь иначе, чем мужественным, вызывали почтительное удивление. Олег Николаевич всегда считал старух «женщинами, пришедшими в негодность», и ему было неприятно общаться с ними, видеть их дряблую кожу, ощущать их запах, а

эта женщина не вызывала мыслей о старости, увядании и смерти. Ему не пришлось бы пересиливать себя, чтобы поцеловать ее, пройти с ней под руку. Анна Григорьевна была не старухой, а человеком.

Олег, как многие излишне самолюбивые мужчины, не любил признавать достоинства других людей и с удовольствием обнаружил изъян у Анны Григорьевны: больше десяти лет прожила она рядом с Паустовским, но так ни разу с ним и не встретилась.

— Хотела как-то пойти в клуб, где он выступал, и, как нарочно, вызвали в больницу. Молодой дежурный врач замучил больного: не мог найти отросток. Я тогда еще хорошо видела. Пришла в операционную и уже с порога поняла, в чем дело. «Сердце у больного с какой стороны?» — спрашиваю. А врач и не знает — вот что такое неопытность. Посмотрели: конечно, сердце справа. Значит, ищи отросток слева.

Анна Григорьевна занимала половину дома. Хозяином второй половины был пожилой мужчина в соломенной шляпе. С лица его не сходила какая-то хитрая понимающая улыбка. Когда Олег Николаевич и Наташа выходили на улицу, он так хитро и понимающе улыбался, что, казалось, вот-вот скажет: «Я зна-аю, что вы еще не муж и жена, а уже вместе путешествуете. Я знаю-аю...» Но он просто затворил за ними калитку и объяснил, что двери в дом не запирают, а калитку приходится закрывать на крючок, потому что «здесь воруют только цветы».

На улице было все так же жарко.

— Странная женщина, — сказал Олег Николаевич. — Всю жизнь работала как лошадь, осталась на старости лет совершенно одинокой, имеет половину какой-то хибары и доказывает, что мир прекрасен.

— Далась тебе эта старуха. Просто у нее жизнь так сложилась.

— И между прочим лыжный кросс, на котором обморозились слушатели военных академий был не в тридцать седьмом, а в тридцать шестом.

— И все-то ты у меня знаешь.

— Знаю. Я изучал этот вопрос. Я много чего изучал.

— И каков результат?

— Как говорится, налицо.

— Хороший результат.

— Во всяком случае, когда этой старухе было столько лет, сколько мне сейчас, она работала обыкновенным врачом, а я... Возле небольшого белого каменного дома с вывеской «Ресторан» громоздились пустые бочки, а напротив открытой двери стояли двое мужчин с грустными лицами, в колпаках, сложенных из газет.

— Нэма пива, — сказал один. — Сказали: к вечеру привезут. Вы ж из дома отдыха?

— Нет. Мы туристы. Придется без пива пообедать.

В ресторане было чисто, прохладно и пусто. Блестели вымытые коричневые столы, похожие на школьные парты. В открытом окне — пустой двор, заросший лебедой, тень от сарая. На официантке форменное светлое платье с вышитыми цветочками.

— Вот теперь я наконец чувствую, что экскурсия началась, — сказал Олег. — Водочки взять. Холодненькой. Найдем? А? Девушка?

— Найдем, — улыбнулась официантка.

Им принесли салат, замечательную ледяную окрошку и жареную рыбу, только сегодня утром пойманную в Оке. Олег Николаевич сфотографировал Наташу за накрытым столом, потом Наташа сфотографировала его, потом официантка сфотографировала их обоих, а Олег Николаевич сфотографировал официантку с подносом в руках.

Хорошо было закусывать водку остро-кислой окрошкой, смотреть на Наташу, похожую в легком платьице-сарафане на школьницу, и думать, что своими успехами обязан только себе, только своим способностям, своему уму. Он вовремя понял, что надо выбираться из толпы, уйти из конструкторского бюро, где можно всю жизнь просидеть за одним столом над одними и теми же усилителями. Он правильно определил место, куда надо уйти, сумел сблизиться с людьми, которые помогли, сумел оказаться на виду в министерстве.

Так хорошо думалось обычно после нескольких рюмок водки или коньяка. Да и в трезвые минуты Олег Николаевич был доволен собой. Лишь изредка возникало неясное беспокойство, похожее на чувство, которое испытываешь, когда опаздываешь куда-нибудь. В такие минуты Олег Николаевич шел в ресторан с друзьями, ехал в Прибалтику или, как теперь, в Тарусу.

Выйдя из ресторана, шли по знойным пустым улицам, и пух отцветающей вербы медленно и лениво кружил над ними, вспыхивая на солнце голубым серебром. На пыльной площадке, обсаженной мелколистной провинциальной липой; казавшейся преждевременно пожелтевшей из-за множества узких желтых подцветников, возле автобусной станции терпеливо сидели старушки с узелками и солдат отпускник в жарком суконном мундире, оклеенном множеством блестящих значков. В чистеньком пустынном садике, напротив белого здания райкома, цвел шиповник, и его аккуратно-подстриженные кусты казались усыпанными обрывками лиловой бумаги.

Городок обозначался двумя памятниками на двух своих окраинах. На юге, на горе, — над Окой — Борисову-Мусатову. На севере, на горе, над речкой Тарусой — Паустовскому.

Между памятниками — сегодняшний день с пыльными улицами, с магазином, перевыполнившим план второго квартала, с пляжем, цветущим яркими красками синтетических купальных костюмов, с маленьким садиком над Окой, где возле деревянного строения, гордо именуемого «пивным залом», стояли двое мужчин в газетных колпаках и грустно констатировали: «Нэма пива. К вечеру привезут». Отсюда, с самого высокого места города, хорошо был виден дальний пляж: оранжевая полоска с человечками под зеленой горой, с сверкающими в зелени белыми лоскутами стен дома отдыха.

Шли туда по плоскому берегу, зажатому между горой и рекой, по тропинке в высокой траве, и Олег Николаевич рассказывал об Ильинском омуте и «Доме с мезонином», а Наташа говорила: «И все-то ты у меня знаешь...»

Из-под горы вытекал ручеек, который надо было перешагнуть, и тут же обнаружился его источник: в вечной тени кустов бузины и неправдоподобно высоких лопухов бил родничок. Тарусский чистый ключ.

— А где же полагающийся экзотический берестяной ковшик? Придется пить из самого популярного сосуда двадцатого века — из водочной бутылки.

— Давай из лопушка, Олег. Так интереснее.

Они вдыхали прохладу подземного источника, пряность зелени и, словно не пили, а глотали острые ло-

мающиеся льдистые куски какого-то животворного вещества.

У пляжа вода возле берега была почему-то неподвижной и грязной, как в запущенном пруду, однако ближе к середине реки находилась песчаная отмель, и, доплыв туда, можно было лежать на твердом бугристом песке в потоке чистой воды. Наташин зеленый купальник упруго, со змеиной плавностью обрисовывал ее тело, ярко выделяя кожу цвета лилии-красноднева с золотистым солнечным пушком.

— Я не потолстела? — спрашивала Наташа.

— Я тебя люблю.

— Ты хочешь сказать, что чем больше любимого тела, тем лучше? Да?..

— Ах ты...

Вспомнили свое первое знакомство, случившееся, когда Олег Николаевич работал еще в конструкторском бюро.

— Я так тебя стеснялась, когда ты приходил за чертежами. Помнишь? Вы тогда делали какой-то усилитель. Ты еще говорил: гениальный усилитель. Сделали вы тогда этот гениальный усилитель?

— Какой там еще усилитель...

Снова возникло томительное беспокойство и захотелось посмотреть на часы, куда-то спешить, что-то срочно делать, считать оставшиеся дни... Усилитель можно было вполне назвать гениальным: Рубчинский месяцами искал техническое решение, а он, поспорив на бутылку «Три звезды», тут же на пачке сигарет «Стюардесса» начертил схему и написал уравнения. Рубчинский удивлялся, почему Олег с такими способностями не поступает в аспирантуру и не пишет диссертацию. Аспирантура, диссертация — он знает цену этому: годами жди очереди на публикацию, потом очереди на защиту, потом убеждай бездарных оппонентов... С его способностями еще и не защитишься: идея-то незаурядная, неожиданная. Не поймут, будут проверять, зажимать...

— Какой там еще усилитель... В министерстве через меня проходят все разработки всех институтов и КБ. Ваш начальник, когда я там работал, бывало, меня и не замечал в коридоре, а теперь приезжает в министерство — и к первому ко мне. Руку жмет, улыбается: «Олег Николаевич... Олег Николаевич... Как наша смета?..»

Какие-то юиые девушкн с визгом и хохотом плескалнсь в реке и вдруг все сразу выбегали на берег и со страиной прилежностью начинали рисовать иа мокром песке непонятные фигуры. При этом они ннзко иагибалнсь, и Олег Николаевич видел под оттопыривающимися купальинками их маленькие узкие груди.

По реке шла сверкающая белая «Ракета», косые волны от иее били в берег и смывали рнсунки девушек. На верхней палубе одннаково неподвижио сидели люди, и лица их былн одинаково повернуты к берегу, от чего казалось, что пассажнров этих возят по реке иапоказ. Радно на судие гремело песией: «Что было, то было, закат заалел; сама полюбнла, инкто ие велел...»

— Это про меия, — сказала Наташа, и у иее сиова вознникло «ночное лицо».

Из кустов, шатаясь, вышел человек в кепке и мятом костюме. На ногах у иего были надеты только иоски. У воды ои разделся, оставшись в длиииых чериых трусах, вошел в реку, окунулся и сразу же выскочил на берег, дрожа и отряхиваясь, как мокрая собака. Оступаясь и пачкаясь песком, ои натянул брюки и долго оглядывал берег, что-то разыскивая. Его бессмыслеиио упорный взгляд остаиовился на Олеге:

— Туфли мои где? — спросил он. — Где?.. Туфлн?.. А?..

— Какие еще туфлн?

— Туфли где? А?

— Требуйте, требуйте с иего, — смеялась Наташа. — Пусть отдает. Это он взял.

— Ну, у тебя н шутки.

— Он? — серьезно спросил пьяный и долго тупо смотрел иа Олега Нниколаевича.

На лице его выразнлось иечто вроде презреиия, и ои отрнцательно покачал головой.

— Не-е... Он ие возьмет. Не имеет никакого права.

— Ты хоть знаешь, в каком городе иаходишься? — спроснл Олег.

— Я ие в городе. Я в доме отдыха... А туфлн, вот...

— А какой сегодия день ты знаешь?

— День? Сегодия, это... Сегодня полуфннал. Моя команда нграет. Поиял?

— В вытрезвителе теперь телевизоры есть? Тебя же заберут.

— Ну и заберут. Меня заберут — так разберут, а вот тебя заберут, так...

— Ладно. Хватит. Иди своей дорогой.

— Чего это иди? Чего это заберут? Меня заберут — так разберут, а вот тебя...

Пока Олег Николаевич и Наташа одевались, пьяный бродил по берегу, искал туфли и бормотал, грозя кому-то пальцем: «Меня заберут — так разберут...»

С пляжа пошли вверх, к памятнику Борисову-Мусатову. Этот памятник строгим и тяжелым драгоценным камнем вставлен в зеленую прическу Тарусской горы. Не улица, не переулок вели туда с дороги, а заросшая травой узкая тропинка, виляющая между ровных аккуратных заборов и штакетников, мимо чистеньких домиков с музейными узорами оконных наличников, мимо подметенных палисадничков с цветущими ирисами и флоксами, мимо темных садов, сверкающих полированными шариками наливающихся яблок. Возле голубой стеклянной терраски крайнего дома двое стариков варили варенье, наклонив над тазом седые головы, и оттуда пахло горячей воздушной сладостью малиновой пенки, детством, бабушкиным садом, девятнадцатым веком, романсами Булахова, картинами Маковского...

Прямые линии и острые углы черной железной ограды врезались в мягкий лоскутный покров берез и кленов, отделяя исключенный из времени квадратик земли от безграничного простора жизни, вечно текущей через все и вся, не замедляющей и не ускоряющей движения, с равным величественным равнодушием оставляющей за собой и безвестного бродягу и знаменитого художника.

Памятник — розовый камень в черной оправе ограды: гранитная плита с лежащим на ней мертвым голым мальчиком. В нескольких шагах, за оградой, крутой спуск к Оке, почти невидимой сквозь гущу листвы. Солнце едва проникало сюда, и черная земля была мягкой и сырой.

Наташа ничего не знала о Борисове-Мусатове, и Олег Николаевич рассказывал ей о короткой жизни этого странного горбатого и болезненного человека, о его неожиданной смерти в захолустной Тарусе в грозный и кровавый год, глядящий с памятника трагическим сочетанием нуля и пятерки, о необычной живописи художника.

— Все-то ты у меня знаешь, — говорила Наташа.

— Я это изучал. Декоративный пленэризм, «Мир искусства», «Голубая роза»...

Они сидели на садовой скамье у ограды, и меж деревьев, перед ними, за крутым невидимым спуском, открывался кусочек изумрудно-зеленого берега с редкой порослью кустарника, косая матово-голубая лента реки, а за ней — заокские леса, вблизи темно-зеленые с рыжими солнечными полосками прогалин и голубовато-туманные вдали, у зубчатого горизонта.

Олег Николаевич рассказывал Наташе о том, что раньше здесь было кладбище староверов, и Марина Цветаева всю жизнь вспоминала эти холмы, откуда видны «самые далекие зализы песка на Оке» и «хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище под кустом бузины. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов поставили с тарусской каменоломни камень: здесь хотела бы лежать Марина Цветаева».

— И это ты изучал? — спросила Наташа.

— Я изучал все, что объясняет, как надо жить.

— И теперь ты знаешь? Расскажи.

— Долго рассказывать. Могу сказать, что во всяком случае не стоит жить в нищете, на чужбине, в страданиях ради надежды на памятник на кладбище.

— А кем был этот Борисов-Мусатов, когда ему было столько лет, сколько тебе сейчас.

— Он уже тогда был мертвым знаменитым художником.

— Лучше быть неизвестным, но живым. Да?

Много можно было вспомнить поговорок, подтверждающих правильность твердого мировоззрения: и «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным», и «лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь трупом», но высеченный из гранита мертвый голый мальчик, распластавшийся на надгробной плите, оставался равнодушным к этим истинам. Он был слишком живой и теплый, этот мертвый мальчик, изваянный из холодного гранита. Его головка, беззащитно откинувшаяся в сторону и вдавившаяся в плоскость камня, его острые коленки и вывернутые пятки хранили живое тепло рук ваятеля, его живую мысль, живую память о ху-

дожнике, горбатом слабом человеке, прожившем всего тридцать пять лет и успевшем обогатить людей своим миром красок.

Не так давно Олег Николаевич восхищался картинами Борисова-Мусатова, особенно той, где изображена женщина, стоящая в цветущем саду спиной к зрителю. Он радовался за художника, представляя его творческий восторг открытия именно этого бордового цвета, упавшей с плеч шали, именно такого поворота головы, именно такой, единственно верной линии бедер. «Знаете ли вы, в чем заключается истинное счастье? — писал художник. — Я это счастье нашел. Оно живет в труде. Все остальное — пустота. Счастье, которое дает творчество во всех его видах, есть самое величайшее счастье человека».

Тогда Олег Николаевич ходил смотреть картины для того, чтобы смотреть картины, а не для того, чтобы потом разговаривать о них.

— Пойдем отсюда, Наташа, а то что-то уже...

— Стало холодать? Не пора ли нам поддать?

— Ты у меня умница. Все понимаешь.

Возвращаясь к городу, они заметили оживление возле пивного зала, конечно, свернули туда и попали к самому торжественному моменту. «Заряжают... Только что привезли... Жигулевское бочковое», — со священным восторгом говорили стоявшие в очереди местные шоферы и рыбаки в синих спецовках и пришельцы из дома отдыха в белых рубашках и голубых спортивных брюках. Первыми стояли, конечно, двое в колпаках, сложенных из газет. За мокрым столиком спал, положив голову на руки, знакомый купальщик с пляжа. Теперь он был и без носок: босиком. Звонкий стук кружек разбудил его, он поднял голову, погрозил пальцем, пробормотал: «Меня заберут — так разберут», — и снова уснул.

Олег Николаевич усадил Наташу за крайний столик у двери, подошел к стойке и сразу вернулся с двумя кружками пива.

— Ты, как всегда, меня поражаешь, — восхитилась Наташа.

— Если в Москве я водил тебя без очереди в «Новый Арбат» и запросто доставал билеты на Таганку, то неужели здесь я не смогу организовать кружку пива? На-

род всегда чувствует, с кем имеет дело. Мне не надо представляться, кто я, и доставать красную книжечку.

Олег Николаевич смаковал холодное терпкое пиво с железистым ячменным ароматом, вновь обретая спокойствие и уверенность, и объяснял Наташе, что пиво из кружки кажется вкуснее из-за того, что, погружаясь в широкий толстостенный сосуд, полностью воспринимаешь букет напитка и подробно ощущаешь его вкус, так как толстое стекло заставляет участвовать в процессе питья и губы, и небо, и язык.

К дому Паустовского они вышли тихой, заросшей травой улицей. Глухой коричневый забор с высокими крытыми воротами упирался в стену голубенького с белыми окнами дома, деля его на две части, одна из которых выходила на улицу, а другая пряталась во дворе. Мемориальная доска была укреплена на стене той, внутренней части, и из-за забора виднелся лишь ее верх с неясным портретом писателя. Здесь Олег Николаевич и Наташа сфотографировали друг друга возле палисадничка с желтыми цветами, прочитали прикрепленное кнопками к воротам машинописное объявление («Уважаемые товарищи! Музея писателя Паустовского в доме нет. Просьба не стучать и не беспокоить») и пошли в обход сада к речке. Тянувшийся вдоль невысокого обрыва над берегом забор, с нависающими над ним разлапистыми деревьями, местами выгибался, словно раздувала его могучая зеленая сила. Красноглинистая тропинка, сглаживая крутизну склона, вела к травянистому покатому берегу, окаймленному лентой бледно-желтого песка. Напротив, через какие-нибудь несколько шагов, густым валом нависали над темно-бурой водой кусты противоположного берега. Там, на неширокой полосе луга, маслянисто-желтой россыпью светились цветы сурепки, а далее — розоватые, коричневые, темно-сиреневые, серые косяки пашен и туманно-сизые полоски леса на горизонте.

Паустовский писал об этой земле: «Я навсегда и всем сердцем привязался к Средней России. Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной — со всей своей грустью, спокойствием и простором, — как средняя полоса России».

К его могиле шли по тропинке вдоль обрыва, кото-

рый становился все выше и все дальше удалялся от извилистой линии верб и камышей, обозначавших невидимую речку Тарусу. Печально-величавые ели и равнодушно-могучие дубы кладбищенской рощи встретили их предвечерним торжественным молчанием. На самом краю кладбища, над крутым спуском, поросшим редкими молодыми березками, на огороженной кустарником полянке, под одиноким дубом лежал розовый гранитный валун. К стволу дуба была прикреплена фотография писателя. Такую же Олег Николаевич видел в тех удивительных книгах, которые словно с помощью какого-то специального освещения, подобного ультрафиолетовому, выявляли тайну и красоту там, где, казалось, все было ясно и будднично: на берегах Кара-Бугаза и Колхиды, в Мещорских лесах, в тихих речных омутах, в обыкновенных делах обыкновенных людей.

— Он тоже страдал из-за этого памятника? — спросила Наташа. — Ты все про него изучил?

— Изучил. Пойдем скорее отсюда.

— Стало холодать?

— Стало.

Снова возникло чувство безнадежного опаздывания, и хотелось перед кем-то оправдываться, кому-то доказывать свою правоту. Тому, кто бессмысленно тревожит. Паустовскому, Эйнштейну, Борисову-Мусатову... Жизнь проста и прекрасна: любовь, деньги, всяческие удобства, экскурсии, вот... Он все понимает, все изучил, может рассчитать любую радиосхему, может написать диссертацию, изобретать, мучаться над открытиями, спорить на заседаниях ученых советов, но ему это не нужно. Понимаете? Не нужно. У него все есть. Наташка вот, например...

— Куда ты так летишь? По старухе соскучился?

— Старуха. Интеллигентной себя считает, а с Паустовским не встречалась, живя рядом... Она еще попортит нам нервы. Потребует документы и, узнав, что мы не муж и жена, не разрешит вместе спать.

— Еще чего! У родной матери не спрашивалась, а здесь какую-то старуху испугаюсь.

Улица, где жила Анна Григорьевна, выходила к березовой роще. За деревьями таяло заходящее солнце, размазываясь оранжевым лаком по высокому небу. Закатный свет горел в стеклах терраски, создавая тот

особенный вечерний дачный уют, когда дети вернулись с речки, старики поднялись после дневного отдыха, когда ждут гостей из города и чая с вареньем. Гостями здесь были Олег Николаевич и Наташа, и Анна Григорьевна встретила их почти радостно: соскучилась в одиночестве. Она расспрашивала о прогулке, интересовалась, понравилась ли Таруса, но все эти расспросы делались из вежливости: она любила говорить и рассказывать сама. Сидела в каком-то любимом кресле в позе величавого спокойствия, предполагая вокруг почтительных и внимательных слушателей.

— А я вот вам что скажу: раньше писали лучше. Возьмите к примеру Тургенева или Толстого...

Для Олега всегда было мукой выслушивать подобные разговоры и сейчас лишь предвкушение ужина с коньяком позволило ему смолчать. Особенно дальние родственники и шофера такси любили распространяться о том, что никто теперь не пишет так хорошо, как писал Лев Толстой, что нет у современных художников таких красок, как у Репина, а секреты иконописцев вообще утеряны...

Анну Григорьевну пригласили к столу, но от еды она отказалась, а по поводу коньяка высказалась категорически: «Никогда не пила, даже на фронте».

— Тогда я вам искренне сочувствую. Нет, Наташа, сегодня я рюмками не пью.

В минуты раздражения, как теперь, он любил сразу выпить стакан, чтобы «почувствовать», чтобы «шандарахнуло», а потом уже не пить, а только закусывать, но, к сожалению, на практике всегда что-нибудь мешало полному осуществлению этого метода. На сей раз помешал врач местной больницы, который принес Анне Григорьевне магнитофон.

Это был уже немолодой, терпеливо-спокойный человек, внимательно рассматривающий и выслушивающий собеседника, но высказывающийся определенно и без обиняков. Олег Николаевич искренне радушно пригласил его к столу, предлагая и «настоящий армянский», и паюсную, и финский сервелат, и другие деликатесы, которые можно достать только «по большому знакомству», но доктор решительно отказалась. «Коля у меня никогда не пил», — одобрительно подтвердила Анна Григорьевна. «Я же ваш ученик», — сказал доктор.

Олег Николаевич, стараясь казаться обычным скромным рядовым человеком, ведущим обычную трудовую жизнь, объяснил, что «просуетишься бессмысленно целый день, придешь домой, введешь в организм грамм двести — и хоть на пять минут забудешь эту проклятую работу». Все приятели Олега в разговорах обычно делали вид, что именно так относятся к работе и, наверное, многие из них так и относились, а доктор спросил:

— Зачем же вы работаете там, где вам не нравится?

— Здесь сразу не разберешься, — отшучивался Олег Николаевич в том же тоне, но уже чувствовал пошлость своих слов.

— Что-то мне не хочется пить, — закапризничала Наташа, и ее нижняя губка надулась и оттопырилась.

Это было признаком недовольства, и в другое время Олег Николаевич кинулся бы ее успокаивать и уговаривать, но теперь он чувствовал себя обиженным и начинал злиться.

— Ты еще будешь выламываться!

— Ну, хорошо, хорошо. Я выпью. Только ты не волнуйся, пожалуйста.

Олег Николаевич не спеша взял кусочек лимона, пососал его, глубоко вздохнул и, наконец, почувствовал ожидаемое сладостное тепло, расплывающееся в голове и груди.

— Прекрасно, — сказал он с вызовом. — Пусть попробует кто-нибудь доказать, что мне стало плохо.

— Пьянеете быстро? — спросил доктор.

— Вообще не пьянею. Ведро могу выпить. Недавно бутылку с лишним высадил и пошел на конференцию. И никто ничего не заметил. В перерыве пожевал мускатный орех и с профессором запросто разговаривал. Он меня хорошо знает...

— Бессонница бывает после приема алкоголя?

— Бывает, бывает, — вмешалась Наташа. — Среди ночи вскакивает и валокордин пьет и таблетки какие-то.

— Депрессивные состояния по утрам наблюдаются? Резкие смены настроения?

— Плохи мои дела, доктор? Да?

Олегу Николаевичу стало так хорошо после стакана коньяка, что слова доктора совершенно его не трогали.

Он откинулся на стуле, хитро прищурился, достал сигарету и был готов разрушить любые аргументы доктора.

— Да. Ваши дела плохи. Систематическое отравление ядом не может не привести к тяжелым последствиям.

— Коля, не надо сейчас об этом говорить, — сказала Анна Григорьевна. — Люди пьют, получают удовольствие, и не надо им мешать.

— Пусть говорит, а мы с Наташенькой еще по рюмочке... Так, значит, вы, доктор, не пьете? Тогда у вас богатые возможности для творческого мышления. Кстати, что вы думаете о гуманизме Швейцера? Разделяете вы его концепцию священности всего живого? Ах, вы не слышали ничего о Швейцере? Значит, в наше время можно заниматься медициной и ничего не знать о Швейцере? Интересно. А как вы относитесь к пересадке органов? Считаете ли вы физиологическую несовместимость таким же принципом существования человека, как и смертность, или же верите в возможность преодоления? Какое определение здоровья вы признаете? Согласны с экологическими взглядами Давыдовского? Это вас не интересует? Может быть, вы думаете об общих вопросах? О физике? А вы знаете, что мир можно объяснить и с помощью теории относительности и с помощью противоположной ей теории дальнодействия? Или вы любите искусство? Литературу? Как вы относитесь к поэзии Николая Рубцова? Ах, его вы не читали? А что вы скажете о проблеме народа и интеллигенции в мировой литературе от Евангелия до Шолохова? Вы ни о чем об этом не думаете? Так зачем же, черт побери, вам нужен трезвый мозг? Чтобы растить детей таких же... таких же трезвых, как вы?

— Знаете, что я вам скажу, — вмешалась Анна Григорьевна. — Вы, как вас... Олег Николаевич, не должны так говорить. Коля — прекрасный врач-хирург...

— Извините, Анна Григорьевна, я сам отвечу. Мне нужен трезвый мозг, чтобы лечить людей, а вам нужен мозг, отравленный алкоголем, чтобы безответственно болтать обо всем на свете.

Анна Григорьевна сказала, что ей надо выпить лекарство и ушла в комнаты.

— Даже тот факт, что я выпил, нисколько не смягчает и не оправдывает того обстоятельства, что вы, док-

тор, не выполняете основную функцию человека на земле — вы не мыслите.

И Олег Николаевич победоносно взглянул на Наташу, чувствуя ее восхищение собой.

— Что я вам могу сказать?..

— Вы ничего не можете сказать. Ваше положение весьма неудачное. Сегодня, знаете, лечим людей, не задумываясь, кого лечим и зачем лечим, а завтра будем выполнять какую-то другую работу по приказу, тоже не задумываясь... Помните, к чему это приводит? Орудовать скальпелем, не думая — невелика заслуга. Чехов вот тоже был доктор.

— Что я могу вам сказать? Хорошо вы говорите. Бойко. Но я все это уже слышал. Некоторые даже лучше высказывались, полнее. Когда привозят допившихся до белой горячки, они иногда сутками несут, или, как они сами выражаются, «гонят» и про Эйнштейна, и про Евангелие...

— Не к лицу вам, доктор, пользоваться такими некрасивыми приемами — опорочить оппонента, приравнять его к сумасшедшему. Ну, хорошо. Пусть я допьюсь до белой горячки, но вы-то все так же будете жить, не утруждая себя мышлением, все так же будете лечить людей, не разобравшись, зачем вообще живут эти люди.

— Простите, я пойду к Анне Григорьевне.

— Подождите! Вот видите: даже здесь вы не хотите хоть немного подумать над моими словами...

Но доктор вышел, и Олег Николаевич возмущенно говорил Наташе, что «все они так: боятся мысли, боятся истины, бегут от серьезного разговора...».

После нескольких лишних рюмок у Олега всегда возникало беспокойное стремление куда-то спешить, что-то искать, бежать в магазин за дополнительной бутылкой, ехать на футбол, к знакомым женщинам, в Сандуны, на ипподром, и теперь ему захотелось немедленно уйти из этого дома.

— Идем, Наташа! В березовую рощу! Идем, Наташа! Идем к вечной прекрасной природе...

Было еще совсем светло. Оранжевый закат в полнеба полыхал над рощей.

— Здорово я его уел. А?

— Да ну его. Такая серость, а еще спорит...

— Серость? — Олега Николаевича почему-то обиде-

ло то, что девушка так отозвалась о докторе. — Серость! Он, конечно, недалекий человек, но он труженик. На них держится государство, земля. Понимаешь? Я, конечно, выше его. Я мыслю. Я стою рядом с великими людьми. Я понимаю их и беседую с ними. Если хочешь, то я даже в чем-то выше их. Потому что я использую свой разум для себя, а не для этих дикарей, которые потом тебя же еще потащут на костер. Мне не нужен памятник на горе. Я предпочитаю коньяк. Но ты доктора не трогай. Он труженик.

— Нужен он мне! Я его молча презираю.

— Нет. Ты скажи, как ее надо называть. Как ее на-Ты создаешь что-нибудь для людей? Лечишь? Детей воспитываешь?

— Я сама еще ребенок.

— Вот ты скажи: какая это роща перед нами?

— Обыкновенная березовая роща.

— Нет. Ты скажи, как ее надо называть. Как ее назовет мыслящий человек?

— Отстань, а то я сейчас назову.

— Это левитановская роща! Понятно? Левитановская! Одно слово — и полное определение предмета.

Еще не спала дневная жара, и крапчатые вороха березовой листвы, пронизанные белыми вертикалями стволов, сулили прохладу, но едва лишь вошли в рощу и сделали несколько шагов, как охватила неожиданная жаркая духота. Нагретые солнцем стволы за день накалили и высушили воздух, и не осталось в роще ни свежести, ни прохлады, и пахло сухим распаренным деревом, как на дровяном складе.

— Вот тебе и прохлада! — возмущался и почему-то злорадствовал Олег Николаевич.

Большинство деревьев стояли здесь группками: по два, по три, но встречались и индивидуалисты, и они-то, как всякие эгоистические натуры, были самыми богатыми, сумели больше других захватить зеленого имущества — листвы. Лишь редкие березки тянулись прямо вверх, но и их линии были искривлены. Большинство же или внизу изогнуты серпом, или выгнуты дугой на всю высоту, или причудливо извилисты, или просто наклонены. И узор на белой их коре совсем не похож на аккуратные картиночные поперечные полоски: снизу шли сплошные сизо-черные мшистые наросты с северной сто-

роны и темная крупночешуйчатая кора с небольшими белыми штришками — с юга; повыше — сложные, вытянутые по стволу пятна, и лишь вершины где-то на последней трети имели привычные поперечные черточки.

— Вот тебе, Наташа, и стройная березонька. Вот тебе и прохладная роща. Лгут великие художники... Идем на полянку, а то в этой прохладной роще задохнешься.

На большой поляне их вместе с прохладой встретили комары, и Олег Николаевич окончательно разозлился. Он ругал комаров, березки, природу, Паустовского и Левитана и, конечно, доктора.

— Хватит психовать, — остановила его Наташа. — Давай закурим — и комары нас не тронут. Или еще лучше: костер разведем. Ты можешь костер зажечь? Мужик ты или нет?

— Я все могу. Я могу больше, чем ты думаешь. Только дай глотнуть.

Он, шатаясь и спотыкаясь, набрал сухих ветвей. Костер задымил, вспыхнул и затрещал, длинный хвост дыма поднялся к небу и плавно завернул к домикам Тарусы. Наташа расстелила на траве одеяло, достала колбасу и хлеб. Допив коньяк и забросив бутылку далеко в рощу, Олег Николаевич лег на спину и пожаловался Наташе, что отравился.

— Чем? Коньяком? Это тебе не впервой.

— Нет, Наташа, не коньяком, а водой... Только теперь я понял, что меня отравила эта проклятая вода из Тарусского источника. Целый день у меня болит сердце и хочется напиться или, может быть, даже повеситься вот на этой красивой березе...

— Здорово ты набрался. Теперь понес... Погнал...

— Ты не понимаешь. В этой воде опасный микроб. Он заставляет людей идти на крест...

Возвращались, когда уже стемнело и на небе высыпало так много звезд, что, казалось, был слышен их сухой треск. Хмель проходил, Олега Николаевича знобило, настроение его резко упало.

— Наташа! — говорил он, прижимаясь щекой к плечу девушки. — Я не виноват. Это жизнь заставила меня... Я не виноват... Прости меня.

Наташа не понимала, о чем он говорит, но на всякий случай успокаивала:

— Да, да. Ты не виноват. Ты самый хороший. Ты мое солнышко.

— Простите меня, я не виноват. Я искал удобной обеспеченной жизни, как все люди. Только поэтому я изменил творчеству. Но я вернусь. Я все исправлю, Наташа...

— Исправишь, исправишь. Сейчас ляжешь, проспишься...

— И выпить. Глоток перед сном.

— Нет уж. Хватит.

— Наташка! Один глоток. Все равно жизнь погибла!..

— Хватит ныть. Не получишь больше.

Анна Григорьевна уже спала. Наташа зажгла свет на террасе и начала стелить, а Олег Николаевич полез в чемодан за новой бутылкой.

— Ты все-таки за свое? Я же сказала: хватит!

Но Наташа не успела остановить Олега Николаевича: он, ломая ногти, открыл бутылку и сделал два огромных глотка. Ему снова стало хорошо и спокойно.

— Не превышай своих возможностей, Наташенька. Пошли в сад. Там цветы и звезды. Мы будем читать стихи и пить коньяк.

Ему удалось уговорить Наташу выйти, и они сидели на скамейке среди цветущих душистых табаков и флоксов. Где-то далеко ленниво, словно по-обязанности, лаяли собаки. Две старые липы возвышались над домом, образуя темную фигуру, похожую на двуглавого орла.

Олег Николаевич хотел прочитать какое-то стихотворение («последнее слово современной поэзии»), но ничего не мог вспомнить, кроме одной строчки: «Ну что тебе надо еще от меня?» Он повторял и повторял эту строчку, но дальше дело не шло.

— Ну что тебе надо еще от меня?.. Нет, подожди. Я сейчас вспомню... Ну что тебе надо еще от меня?..

— Ничего мне от тебя не надо. Я хочу спать.

— Все! Идем спать. Сейчас выпью последний глоток — и спать. Наташенька! Я увижу твое ночное лицо.

— Не увидишь! Больше никогда не увидишь.

— Что? Ты со мной так? Забываешься? Я человек! Я поверну свою жизнь!

— Замолчи! Завтра ты же будешь в ногах валяться. Замолчи и ложись, а то на полу будешь спать.

И ие вздумай меня трогать — вообще на улицу выгоню.

Ночью Олег Николаевич в тяжелом бредовом полусне спорил с различиыми людьми, толпившимися вокруг него. Здесь был и Паустовский, не желавший с ним говорить и презрительио отворачивающийся, и маленький горбатый Борисов-Мусатов, повторявший, что только творчество может дать человеку иастоящее счастье, что для этого надо лишь выпить глоток воды из чистого источника под Тарусской горой. Олег Николаевич устремлялся к источнику, зачерпывал стаканом ледяную воду, подносил к пересохшим губам, ио вода почему-то проливалась мимо и от иее отвратительно пахло коньяком. Доктор осуждающе качал головой и говорил, что систематическое отравлеиие алкоголем приводит к полному физическому и моральному разрушению человеческого организма. Анна Григорьевна подтверждала это и строго кивала головой.

— Я не виноват! — оправдывался Олег Николаевич. — Человек не ответствеи за свои поступки. Это знал еще Ницше. Человек подчиияется обстоятельствам. Вы сами не даете мне воды из чистого источника.

— Что я могу вам сказать? — говорил доктор. — Это вода не для вас, а для тех, кто служит людям.

— Верно, Коля, — подверждала Анна Григорьевна. — Человек должен успеть сделать за свою жизнь как можно больше, должен успеть полностью реализовать свои творческие способности, полученные от природы.

Олег открыл глаза, увидел серо-голубой рассвет, почувствовал острую, пульсирующую боль в висках и понял, что жизнь погибла. Он поднимался и одевался долго и медлеиио, чтобы ие совершать резких движений, вспыхивающих в голове импульсами иевыносимой боли. Жизнь погибла, и жить было незачем. Зачем жить, если ничего ие хочешь и ие можешь: ни спать, ни есть, ни любить, ни работать? Мысль о сигарете или о коиьяке вызывала приступ тошноты. Сколько раз он уже поднимался вот так среди ночи, со стыдом вспомииая вчерашний вечер, с ужасом представляя длинный остаток ночи, огромный рабочий день впереди, требующий встреч, разговоров, действий, и серьезно подумывал о самоубийстве. Но всегда эти ужасные пробуждения забывались и,

дождавшись вечера, он снова требовал, чтобы ему наливали полный стакан. А как же он мог еще жить? Ради чего же выслуживаться, как не ради денег, которые нужны лишь для веселых вечеров. Ведь сама работа радости не дает, а для того, чтобы жениться на такой вот милой девочке, он еще не окончательно потерял разум. Значит, и дальше жить, чтобы пить коньяк и просыпаться вот так?

Голос Анны Григорьевны, слышанный во сне, звучал наяву:

— Наш величайший хирург Николай Нилович Бурденко, с которым мне посчастливилось работать, был не только крупнейшим ученым, но и замечательным человеком. Своей жизнью он дал пример другим людям. Ни одной потерянной минуты — было его принципом. Он спал по четыре часа в сутки, да и то, если его жене Маше удавалось найти его где-нибудь в операционной и увезти домой. Николай Нилович едва находил время для работы над своими сочинениями, ибо рабочее время дня у него полностью уходило на преподавание и на хирургическую практику...

Олег Николаевич подошел к двери, ведущей в комнату, услышал щелчок и снова голос Анны Григорьевны, повторявшей те же слова: «Он спал по четыре часа в сутки...» — и понял, что хозяйка диктует в магнитофон. «Хоть что-то общее есть у меня с великим хирургом, — иронически подумал Олег Николаевич. — Я тоже после пьянки сплю не более четырех часов».

— А теперь я расскажу, как Николай Нилович делал симпатикоэктомию при облитерирующем эндоартериите, — продолжала Анна Григорьевна. — Мне посчастливилось ассистировать ему на этой операции.

Он вышел в сад. Голубая влажная тишина раннего утра, возникающие в туманном свете перистые контуры неподвижных кустов и деревьев, похожих на играющих детей, притворившихся спящими, цветы, уставшие от ночной щедрости излияний аромата и слегка поникшие под тяжестью росы и нектара — все это было чуждо ему, измученному бессонницей и головной болью. Не для него открывала земля свою красоту. Все пропито, забыто, изгажено. Променял свою жизнь на коньяк.

На крыльцо вышла Анна Григорьевна в своем длинном светлом халате.

— Какое чудесное утро, — сказала она, откинув голову, вдыхая запахи сада, и протянула руки, словно окунула их в голубой рассвет.

Она была на месте здесь, в просыпающемся саду. Для нее зажигался розовый восход и приветственно кричали петухи.

— А я уже поработала. Вы тоже встали пораньше, чтобы поработать?

— Да. Поработать.

Олег Николаевич ушел в дом и достал из чемодана последнюю бутылку коньяка. Поборов отвращение, он заставил себя выпить полстакана, пососал лимон, закурил и решил, что жизнь еще не совсем погибла. Он еще успеет вернуться в науку, написать диссертацию, создать принципиально новую систему автоматизированного управления... Олег Николаевич еще выпил, съел кусочек осетрины и к тому моменту, когда поднялась Наташа, уже чувствовал себя достаточно уверенно.

— Как спалось, Наташенька?

Однако ответа он не получил. Девушка молча оделась, кое-как причесалась и искала свою сумку.

— Попьем чайку и пойдем купаться? А? Наташенька? Или ты хочешь коньячку?

— Жри сам свой коньяк. Больше ты ничего не умеешь!

— Это мне говоришь ты! Ты!

— Ладно! Замолчи! Сам же будешь потом прощения просить!

— Я у тебя? — Олег Николаевич искренне рассмеялся.

— Все! Я уезжаю! Оставайся и жри коньяк! Жалкий пьяница!..

Наташа выкрикивала грубые слова, и Олег отвечал ей тем же. Анна Григорьевна, открыв дверь, стояла на пороге и с ужасом и возмущением наблюдала эту сцену.

— Как же вы можете? Как же вам не стыдно? Олег Николаевич! Вы же культурный человек...

Наташа рванулась к двери, протиснулась мимо Анны Григорьевны и выскочила на улицу.

— Простите. Это была моя ошибка, — извинялся Олег Николаевич. — Я не должен был...

— Вот я вам скажу, что я не ожидала от вас. Вино, брань... Как это стыдно. Ничего я не хочу слушать... Мне

так мало осталось жить, а я, вместо того чтобы работать, вынуждена видеть и слышать такие вещи.

— Я понимаю вас, Анна Григорьевна. Я уезжаю... Только прошу вас: не думайте, что я действительно такой разложившийся человек. Вы убедитесь, что это не так. Сейчас ничего ие буду говорить, ио вы убедитесь...

Ои был убежден, что уже стал совсем другим человеком, непьющим, занимающимся наукой, не имеющим легкомысленных подруг, видящим смысл и радость жизни в творчестве. В этой новой жизни Наташа ему была не нужна, и ои нисколько не жалел, что девушки уже ие было видно на улице. Наверное, она пошла к автобусной станции, а Олег Николаевич направился в городской садик над рекой. Здесь он нашел скамейку в тени, над самым обрывом. Сразу под ногами начинался крутой склон, обсаженный уныло однообразными кустами желтой акации, усыпаиный старым, наверное, еще прошлогодним мусором: сплющенные грязные упаковки из-под сигарет «Прима», окурки, скомканные бумажки и вызывающие особое чувство блестящие желтые гофрированные колпачки, чуть надорванные в том месте, где от них отходит тупой язычок.

Олег Николаевич курил, смотрел на реку, сверкающую веселой рябью, на городской пляж на противоположном берегу, куда то и дело сновала лодка перевозчика и где уже возникала радуга купальных костюмов, и временами делал хороший глоток из бутылки. Возле скамейки, на земле, прыгал воробей, и Олег Николаевич поговорил с ним: «Много их по улицам ходит. Навалом. Верно, воробьишко?» Когда солнце поднялось выше и стало припекать, он взял чемодан и двинулся к пристани, которая была рядом. Пароходик в Поленово отходил через двадцать минут, и Олег Николаевич успел еще выпить пива.

До Поленова плыли всего минут пять, и за это время можно было заметить, что вода в Оке покрыта мертвенно-радужными пятнами горючего, а на берегу построен целый лагерь отпускников-рыбаков: шалаши из ветвей, площадки для приготовления пищи, места для рыбной ловли.

В Поленове Олег Николаевич бездумно поплелся за толпой туристов, купил билет и, сдав чемодаи, вошел в белый музей-терем вместе с очередной экскурсией, сос-

тоявшей в основном из школьников в одинаковых синих спортивных костюмах.

Взрослых было всего несколько человек, и Олег Николаевич обнаружил среди них знакомых: двое любителей пива из дома отдыха — при входе в музей они почтительно сняли свои газетные колпаки, и купальщик «заберут — так разберут» — он был трезв и благостен, как пенсионер на юбилее, на ногах у него светились новенькие оранжевые туфли.

Экскурсовод — молодая женщина, рассказывала о том, как в холодную и голодную зиму двадцатого года семидесятипятилетний Поленов, глухой, с опухшими ногами, ездил демонстрировать крестьянам свои диорамы; показывала бумажных птичек, сделанных Львом Толстым для детей художника, а Олега Николаевича клонило в сон и, глядя на голубой диван в портретной, он ловил себя на сумасшедшей мысли: завалиться на этот диван с ногами, нагло, грубо, вызывающе.

Золотая осень, Лев Толстой, народный театр. «Мир искусства» — все это было не для него. Ему бы устроиться где-нибудь в лесочке.

Купальщик в каждом новом зале преувеличенно восторгался, качал головой и делился впечатлениями со спутниками, без конца повторяя слово «аккуратно».

— Смотри ты: аккуратная посуда. Сам расписывал? Аккуратная работа.

В зале, перед большим полотном — вариантом картины «Христос и грешница», написанным углем, экскурсантов усадили на стулья и экскурсовод подробно рассказала о том, как создавалась картина, о том, за какую цену купил царь Александр III, о том, где находился основной вариант картины в красках. О том, чт изображено на картине, она не рассказала. Когд экскурсовод объявила экскурсию законченной, Олег Николаевич встрепенулся:

— Подождите! У нас есть вопросы. Вы должны рассказать нам...

Экскурсанты, двинувшиеся к выходу, остановилис .

— Расскажите, что изображено на картине, — требовал Олег Николаевич. — Мы хотим... Мы имее право...

Экскурсовод, испуганно глядя на Олега Николаевича, сказала:

— Вам я расскажу, а детям нет. Учительница, уведите детей.

Заинтересовавшиеся школьники, недовольные, пошли к дверям, с любопытством оглядываясь.

— Это — ханжество: скрывать от нового поколения величайшие достижения человеческой культуры! — возмущался Олег Николаевич. — Это, если хотите, духовное обкрадывание народа! Вы сами-то знаете? Она сама не знает одну из прекраснейших евангельских легенд! Ее саму надо учить культуре! Она же не знает, что такое Евангелие. Слышала, что такое Евангелие от Иоанна? А?..

Оставшиеся в зале экскурсанты молча наблюдали.

— Гражданин! Вы пьяны, — дрожащим голосом перебивала его экскурсовод. — В нетрезвом виде посещение музея запрещается.

— Вы не забывайтесь. Москва рядом. Я попрошу, чтобы вас научили культуре!..

— Гражданин! Прошу вас покинуть музей, иначе я вызову милицию.

Купальщик мягко, но решительно взял Олега Николаевича за плечи.

— Пойдем-ка, браток, отсюда. С ними лучше не связываться. Аккуратно ты будешь виноват.

Услышав сочувствие в его голосе, Олег Николаевич вдруг проникся щемящей жалостью к себе. Его особенно растрогало, что понял его и посочувствовал «простой человек из народа». Олег Николаевич послушно вышел за ним и говорил, едва не плача.

— Ты меня понял? Да? А эти сволочи!.. Недоучки!.. Они сами не мыслят и отучивают от мышления народ. Они хотят держать вас в темноте. Понимаешь, друг? Христос там сказал: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень!» Это гениально! Ты понял, в чем смысл? Кто из нас без греха!.. А они!.. У-у, сволочи!.. Ты меня понял, друг?

— Понял, понял. Только надо аккуратно. Сейчас у них такой порядок: верить только женщине. Сейчас бы тебе аккуратно пятнадцать суток. Нет, ребята. Надо аккуратно. Зачем здесь нажираться? Музей же. Детишки ходят. Вот, поедем в Тарусу, пивка попьем, можно краски бутылочку взять...

В Тарусу Олег Николаевич больше не вернулся. Он

купил в магазинчике, возле музея, бутылку коньяка и сел на пароходик, идущий в Серпухов. Здесь он прошел на корму и сел на скамью рядом с девушкой, читающей книгу. Как ему показалось, девушка посмотрела благосклонно.

— О-о! Вы читаете Ремарка?

— Вы читали?

— Странный вопрос. Здесь бы я не стал читать Ремарка.

— Почему же? Трудно сосредоточиться на пароходе?

— Нет. Здесь — колыбель русской культуры. Поленов, Паустовский...

Старый пароходик, из тех, что в Москве называются речными трамваями, шел тихо и позволял подробно рассматривать берега: правый — низкий, то клубящийся зеленью ивняка, то распластывающийся кочковатыми полянами, левый — высокий, светящийся разноцветными гребнистыми кручами: розовыми, сиреневыми, лиловыми, сахарно-белыми, искристо-желтыми.

— Я почти не читаю нашу литературу, — сказала девушка. — Там, где я работаю, вообще читают только все западное.

— Где же это собралось сразу столько снобов?

— Так... В одном учреждении.

— А-а. Понимаю: вечная проблема противоречия между усилением и полосой? Или стабилизация нестабилизируемого?..

Девушка молча улыбалась.

— Возьмите меня к себе? Я решил все-таки кое-что сделать для человечества. Хотите коньяк?

Девушка отказалась, и Олег Николаевич сам сделал несколько глотков из горлышка. В этом был особый шик — пить на палубе из горлышка. В этом было что-то ремарковское.

Небо позади потемнело, свинцовая тень пролегла по реке, и последние лучи прячущегося в тучах солнца контрастно выбивали ослепительно яркий свет из береговой косы. Ветер погнал по воде частые низкие волны с белыми злыми гребешками.

— Меня излечила святая вода из чистого источника, и вы тоже поймете. Вы вернетесь к народу...

— Извините, я пойду вниз, — сказала девушка. — Дождь начинается...

Она ушла, а Олег Николаевич с радостью ждал очистительной грозы, бури, града, чтобы встретить их грудью и поспорить, как сказано у поэта. Но как он ни звал грозу, тучи так и не догнали пароход. Где-то вдали, над правым берегом, хлопьями желтоватой светящейся ваты висел дождь. Потом там прояснилось, заголубело, белесо-зелеными полосами засверкали дальние луга. Густо-синие тучи появились над головой, и капли дождя застучали по палубе и взбудораживали реку воронками, но дождь сразу же прекратился, вверху открылось ярко-синее небо, а полосы ливня повисли над бледно-лимонным горизонтом. Только ветер бил в лицо и трепал волосы.

В Серпухове Олег Николаевич нашел на пристани такси, приехал на вокзал и сразу направился в ресторан. Здесь он заказал солянку и коньяк... Официант предупредил его, что в таком виде не стоило бы пить еще — могут забрать. «Меня заберут — так разберут», — ответил Олег Николаевич, и это показалось официанту убедительным.

Через год снова над Тарусой полетел пух отцветающей вербы, и по тихим улицам, идущим от пристани и автобусной станции, потянулись юные туристы с усталыми загорелыми лицами, с рюкзаками за спиной, в синих спортивных костюмах, в джинсах и кедах. Были среди них люди и постарше, и посолиднее. Появился там и Олег Николаевич. Теперь он приехал не в такси, а в автобусе, и одет был попроще, хотя и модно: джинсы, курточка, яркая рубашка. Вез он с собой уже не чемодан с армянским коньяком, а портфель, в котором рядом с бритвой лежало несколько бутылочек «Пепси-колы».

Выйдя из автобуса, он не пошел с туристами к здешним достопримечательностям, а сразу же уверенно зашагал к окраине городка, на заросшую травой улицу, выходящую к березовой роще. Повернув за угол и увидев дом Анны Григорьевны с двумя большими липами перед окнами, он замедлил шаги, вдруг почувствовав некоторую нелепость своего приезда. Конечно, хотелось показаться перед ней в нынешнем облике трезвого научного работника, занятого серьезной творческой темой,

но за свои восемьдесят лет старуха столько видела, что его жизненные проблемы, наверное, покажутся ей пустяками.

Возле колонки кто-то набирал воду, впереди, в разрыве крайних домов, сверкала зеленым глянцем и белым лаком знакомая роща, и женщина в белом платье катила в ее тень детскую коляску. Олег Николаевич остановился и смотрел на эту женщину; пока она не скрылась среди деревьев. В фигуре человека, набиравшего воду, увиделось что-то знакомое. Олег Николаевич подошел к нему и узнал сутулого соседа Анны Григорьевны. На нем была та же соломенная шляпа, и улыбался, и смотрел он так же хитро и понимающе.

— Как же, как же? Помню, — сказал он и поставил ведро. — Что-то вы постарели, что ли? Или устали с дороги?

— Изменил жизнь, изменился и сам.

— Бывает, бывает...

Сосед так хитро вглядывался, что, казалось, все знал и понимал. Казалось, вот-вот он скажет: «Я знаю, что ты сейчас вспомнил Наташу, и заболело у тебя сердце... Я знаю, что не так уж и хороши твои дела...»

— Давайте, я возьму одно ведро. Помогу вам. Кстати, к Анне Григорьевне зайду.

— К Анне Григорьевне?

— Да. Хочу ей рассказать кое о чем.

— Рассказать? Ей?

— Да. А что?

— Она же умерла осенью.

Олег Николаевич почувствовал неожиданную странную пустоту. Целый год он как будто и не думал об этой женщине, а ее смерть вдруг так опустошила мир, что бессмысленной показалась и новая работа, и диссертация, и теперешняя поездка сюда. Какой же был смысл в том, чтобы начинать все сначала в научно-исследовательском институте, стараться завоевать расположение, уже не министра, а директора, терпеливо выносить оскорбительно-товарищеские отношения с молодыми сотрудниками, которые, забывая о том, что моложе его в два раза, покрикивали: «Олежка, опять ты в схеме нахимичил!..»? Какой же смысл во всем этом, если нельзя о своих делах рассказать Анне Григорьевне? Может быть, мы все хорошее в жизни и делаем-то ради од-

ного уважаемого человека, которому можно рассказать об этом хорошем?

Сосед предложил сесть на скамеечку в тени лип, и Олегу Николаевичу захотелось рассказать о себе хотя бы этому почти незнакомому человеку.

Тот слушал внимательно, но с губ его не сходила хитрая, понимающая усмешка, и смотрел он в землю, отводя взгляд от собеседника, словно не желая смущать пониманием тайных сокровенных мыслей. Когда Олег Николаевич горячо доказывал преимущества новой творческой, хотя и малооплачиваемой, но перспективной работы, сосед сочувственно кивал и поддакивал:

— Да, да... Бывает... И меня другой раз понижали, а то и вовсе... Да, да... Ничего... Я всегда как-то выкарабкивался. Это ничего...

И хитро улыбался, словно говорил: «Я зна-аю, что тебя выгнали за что-то из министерства...»

— Нет! Вы меня не так поняли, — горячился Олег Николаевич. — Я сам решил начать все сначала. Делаю диссертацию. Уже тему утвердили.

— Да, да. Я понимаю... Конечно...

Сосед поддакивал и отводил в землю хитрый взгляд, как иногда отворачиваются люди от тех, кто бессовестно врет. Олег Николаевич перестал рассказывать и спросил о докторе: «Помните — к Анне Григорьевне приходил?»

— Как же, как же? Помню. Голубев. Уехал в Африку на три года. Негров лечит.

— Как Швейцер?

— Швейцера не знаю, а Голубев уехал. Да...

— Он совсем не пил.

— Да, да... Бывает... У меня вот зять в Москве на каком-то банкете с иностранцем подрался, а потом тоже волю проявил: сорок дней не пил.

— Как умерла Анна Григорьевна?

— Дай бог всякому так умереть: вышла в погожий денек сухие листья в саду сгрести: чтобы весной цветам было просторно, и так и упала с граблями в руках.

Сосед рассказал, что на похороны ее собралось множество людей знакомых и незнакомых. Приехал и тот очень большой военный и государственный деятель, которого она когда-то лечила.

Олег Николаевич нашел ее могилу на краю Тарус-

ского кладбища, над обрывом. Здесь стояла мраморная доска с портретом Анны Григорьевны времени Великой Отечественной войны: гимнастерка, майорские погоны, орден Красной Звезды...

Олег Николаевич положил на могилу большой букет красных и белых пионов и долго сидел в одиночестве, слушая монотонно-унылое жужжание мухи, попискивание иволги в кустах и осторожно насмешливое пощелкивание соловья где-то в дубках, в глубине кладбища.

Внизу лежали равноцветные пашни, прорезанные межами, золотящимися цветами сурепки, и прописанные извилистой линией верб и камышей, обозначавших невидимую речку Тарусу. И далеко, до туманно-голубого горизонта простирались леса, деревеньки, вспыхивающие на солнце крестами далеких церквей, дороги, дымящиеся пылью первых утренних грузовиков.

Встреча Юпитера с Венерой

В городском небе трудно увидеть звезды: мешают дела и фонари, но Виктор оказался на улице ночью, и над глухой чернотой домов ему щедро открылась живая небесная игра, знакомая, но всегда удивляющая своей вечной повторимостью и странной притаившейся беззвучностью. Заигравшиеся дети Вселенной смеялись, исчезали, мигали, веселились, падали, и бесшумность их возни заставляла думать о какой-то человеческой глухоте, впрочем совершенно реальной, если вспомнить о бесконечном диапазоне электромагнитных волн, из которых человек слышит и видит лишь ничтожный кусочек.

Он стоял у ворот больницы, где оставил истекающую кровью жену, и узнавал и не узнавал сверкающий голубой камушек Юпитера, приподнявшийся над темными тополями. Когда-то, одним счастливым звездным летом, он решил изучить небесную карту, и Юпитер вот так же восходил по вечерам над черными деревьями, к рассвету почти достигал зенита, а с первыми светлеющими облачками навстречу ему поднималась неверно мерцающая зеленоватая Венера, и до розового утра планеты глядели друг на друга, сближались и, не успев сойтись, сгорали в лучах солнца. Виктор проводил тогда отпуск в деревне у родственников, весь день строил по плану, а вечерами, в порядке разумного отдыха, выходил в огород с книжкой по астрономии и карманным фонариком и отыскивал Волопаса, Большой квадрат и Кассиопею. От огородной зелени исходил острый своеобразный аромат, и Виктор, стремившийся все понять и объяснить, тщетно пытался определить его источник. Каждое рас-

тение пахло по-своему: томатная ботва — гастрономически пряно, огуречный лист — горьковато-душно, лук и укроп оставались сами собой, а все вместе создавало устойчивый неповторимый букет, напоминающий запах лежалых яблок.

Над лесом восходил Юпитер, созвездия оказывались на своих местах, и в некоторые особенно ясные ночи можно было наблюдать даже далекую туманность Андромеды. Венера по календарю появлялась перед утром, и Виктору долго не удавалось ее увидеть: спалось тогда слишком сладко и спокойно. На рыбалку с хозяином-колхозником пенсионером, у которого еще хватило силы на двоих таких интеллигентов, как он, Виктор поехал только для того, чтобы встретить эту планету любви и тем самым закончить программу изучения звездного неба. Рыбной ловлей он не занимался: помнил, как в детстве волновали поплавки и трепетание пескарей на крючке и не хотел отвлекаться от главной цели жизни.

Ехать надо было далеко, на старые помещичьи пруды, и поднялись в самый глухой ночной час, когда темнота достигла высшей своей точки, и все замерло перед тем, как начать обратное движение к рассвету. Васильевич с вечера привязал к мотоциклу связку удочек и подсак, приготовил корзину с припасами, и еще не начало светать, когда подъехали к месту. Виктор помог забросить удочки, вернее, пытался помогать: разве смог бы он так ловко раскрутить в руке донку и швырнуть свинцовое грузило в черную воду настолько далеко, что до конца разматывалась леска, дергая удилище, и еле слышен был всплеск? — и поспешил пройти по берегу за кусты тальника, откуда лучше было видно восточный край неба, где должна была появиться искомая планета. Там уже заметно посветлело, глаза привыкли к темноте, и Виктор видел весь пруд, покрытый трепещущими язычками ряби. Венеру он не нашел, и пошел еще дальше по берегу, то ли бессмысленно следуя привычке подходить поближе к рассматриваемому предмету, то ли услышав какие-то звуки, а может быть, следуя некоторому призыву, приписываемому обычно непонятному року, но наверное, поддающемуся объяснению с помощью каких-то эманаций другого человека. Между кустами была небольшая плоская песчаная полоска, уютный та-

кой пляжик в несколько шагов, и он остановился здесь. Над противоположным берегом на востоке засветились два бледно-морковиых пятнышка-облачка, а из воды навстречу Виктору вышла девушка в светлой купальной шапочке, и больше на ней не было ничего.

Он принадлежал к тому поколению молодежи, для которого главным было не столько сделать, сколько быстро и хорошо сказать, и сказал незамедлительно с обязательной иронической интонацией:

— Здравствуй, Венера, выходящая из пруда. Твой верный Юпитер приветствует тебя.

— Какой еще Юпитер? Что вы здесь делаете?

Девушка стояла примерно по колено в воде, он почти не видел ее лица — лишь белки глаз да улыбающийся рот, не мог понять ее выражения, но потом настолько уверенно представлял, какое могло быть у нее лицо в тот момент, что вспоминал встречу, как происшедшую при дневном свете. Да и голос ее выразительный, напряженно-звонкий — вот-вот брызнет смехом или слезой, голос девочки-отличницы из благополучной семьи был бесхитростно откровенен:

— Ой! Я и вправду Венера! Забыла, что без купальника! А вы и уставились, бессовестный!..

Потом он убежденно знал, что девушка смотрела на него с веселым любопытством, как смотрят на человека. когда зададут ему хитрую загадку. Она понимала значение своей обнаженности и кокетничала ею — вскрикнув, еще помедлила, прежде чем бултыхнуться в воду, но понимая, еще не чувствовала — и об этом говорил ее голос.

— Подожди, Венера! — закричал Виктор, испугавшись, что все исчезнет навсегда. — Скажи, кто ты? Где тебя найти? Скажи, а то брошусь за тобой...

Виктор побежал было по берегу, продираясь сквозь кусты, но девушка остановилась в воде и, повернув обтянутую шапочкой круглую головку, сказала: «Пожалуйста, не надо!»

Это беззащитное «пожалуйста» всегда было ее могущественнейшим оружием, заставляющим любого мужчину вспоминать, что от него ждут если и не рыцарского благородства, то хотя бы снисходительности и доброты. Даже зная, что ее тонкий жалобный голосок — всего лишь притворство, или в лучшем случае — способ

самозащиты, и приходилось уступать: ведь и притворялась и хитрила она из-за своей слабости. Услышав ее «пожалуйста, не надо», Виктор был готов прямо здесь на берегу упасть на колени и со слезами любви и умиления клясться, что никогда не сделает ничего дурного этому прелестному созданию.

Вернувшись к Васильичу, Виктор невпопад улыбался его ворчанию на то, что «совсем рыбы никакой не стало», что ее «не удочками, а бомбами надо глушить— все одно химией потравят», и все смотрел на другой берег, отлого поднимающийся к горизонту, где рассвет проявлял теснящиеся на гребне холма серые дома и кущи садов счастливого села, в котором скрылась Венера-Ирина. Она только что ночью приехала с подругой из Ленинграда, и девушки начали отдых с ночного купания. Над селом все ярче и розовее светились два длинных лохматых облачка, а над ними расплывчато мерцала какая-то бледная лучистая звезда, и Виктор долго не мог догадаться, что это и есть многожданная планета любви.

Следующей ночью он уже вдвоем с Ириной встречал Юпитер, поднимающийся над лесом, искал туманность Андромеды, ждал до рассвета Венеру, и больше никогда в жизни не было у него такого большого неба, наполненного звездами: оно осталось там, над старым прудом с низкими берегами, поросшими тальником, помеченными уютными рыбацкими местечками и вытоптанными утиными пристаньками, над затихшими в ночи деревнями и шуршащими тропками среди огородов, источающих сладковатый аромат лежалых яблок.

В этом году небывало теплая осень удивляла и метеорологов, и старожилов, и вообще всех, кроме Виктора, который знал, что это природа празднует его любовь. Он привел тогда Ирину на московское древнее кладбище, на могилу родителей, чтобы представить им свою избранницу. Под старыми кленами с покосившимися стволами, покрытыми черной змеиной чешуей, сгущалась прохладная тишина, пахнувшая вялым листом и сыроватой мягкой землей. Виктор вел Ирину по дорожкам среди оградок и памятников то с крестами и готическими немецкими надписями екатерининских времен, то со звездами и пропеллерами тридцатых годов, то с овальными фотографиями последнего времени и гово-

рил о судьбе, которую выбрал для себя и которую Ирина должна была разделить. Только один раз в жизни и только одному человеку можно говорить все с откровенностью, настолько уверенной и безграничной, что любому третьему лицу эти речи показались бы болезненным бредом, тем более что и голос в такие моменты звучит как-то монотонно-высоко, как у школьника, декламирующего стихи. Он прямо, не таясь, говорил Ирине о том, что прибор, создаваемый им, гениален, что как всякого талантливого человека, опередившего время, его никто сразу не поймет, и долго придется работать одному, испытывая трудности и лишения... Конечно, он мечтал, и даже не мечтал, а почти был уверен в том, что люди сразу признают его и осыплют всякими наградами, но Ирину он честно предупреждал и спрашивал, согласна ли она на такую судьбу. Ирина краснела, наклонялась к нему и говорила, заглядывая в глаза:

— Ты знаешь, я не могу как-то критически относиться к тебе и к твоей работе. Я знаю, что ты всегда прав.

— Это потому, что я действительно прав. Потому что я чувствую истину. Я много раз проверял и всегда убеждался, что один я правильно понимаю любой физический процесс, любую математическую идею. Ну, может быть, еще академик Котельников...

И голос его звучал восторженно и монотонно с убежденностью фанатика. Как назвать это кратковременное состояние человека, когда искренно, до слез, верит он, что человек, идущий рядом, весь до последней изнанки принадлежит ему, так же, как он сам принадлежит этому человеку и может до дна открыться перед ним и сказать о себе все, например, что он гений, или нищий, или сумасшедший? Одни вспоминают о таких днях, как о времени цветения, и тогда жизнь имеет смысл, другие — как о постыдной болезни, и тогда жизнь представляется погибшей.

Трудно теперь поверить, но это было: под кладбищенскими кленами их встретил забытый колокольный звон, доносившийся из церкви неподалеку — редкие, монотонные, величественные удары, повествующие о вечности. Не только движение планет и небывало жаркая осень, но и даже церковные колокола торжествовали вместе с ними. Виктор, подобно многим физикам, был суеверен в том смысле, что допускал существование ка-

ких-то неизвестных законов, связывающих, например, движение планет с человеческой судьбой: «Понимаешь, Ирина, возникает какое-то неизвестное поле, воздействующее на организм, а следовательно, и на характер человека. Ведь судьба — это характер...»

На кладбище они остановились у старого склепа и через стеклянную дверь рассматривали великолепную мозаику Христа во весь рост. На желтом фасаде склепа, под фамилией забытого владельца — никому не известного Эрландера, кто-то ухитрился нацарапать: «Господи, помоги Димке сдать экзамены. 20 мая 1967 г.» Выйдя на центральную аллею, Ирина задумалась о чем-то своем, отдельном от него, сказала, что хочет еще посмотреть мозаику, и почему-то не разрешила ему идти вместе с ней. Он и думать забыл об этом пустяковом эпизоде, происшедшем восемь лет назад, и до вчерашнего вечера не знал, зачем Ирина оставалась на несколько минут одна у старого полуразрушенного склепа.

По обыкновению, он не спешил вечером домой. Подрос Валерка, ему отдали маленькую комнату и письменный стол, за которым мальчик писал свои палочки и кружочки. «Я буду заниматься вечерами в библиотеке», — сказал Виктор. Ирина ответила: «Делай, как тебе лучше», а он слышал в ее голосе: «Все равно твоя работа никому не нужна».

В библиотеке заниматься было нечем: прибор рассчитан, сконструирован, даже выполнен в металле в количестве пяти штук, из которых работает лишь один образец — он сам его налаживал. Для того чтобы прибор выпускался на заводе, надо работать не в библиотеке, а в кабинетах министерского начальства, и Виктор, получив очередной отказ, вечерами шагал по улице Горького, сосредоточенно вглядываясь в карусели движущихся теней под ногами, и беспощадно разоблачал бездарность и невежество тех, кто закрывал дорогу его прибору. Когда перед ним появлялся особенно вредный и тупой бюрократ, сердце захлестывала черная волна злобы, формулировки становились жестокими, как смертный приговор, и шаги его непроизвольно убыстрялись. Встречные прохожие с опасливой неприязнью смотрели на мужчину с осунувшимся лицом и воспаленными глазами, что-то возбужденно доказывающего пустоте и нелепо жестикулирующего.

Если бы его убедили, что прибор плох, или если бы он сам пришел к такому выводу — это было бы трагедией, но мир остался бы миром, в котором можно жить по законам разума. Но Виктор со всей возможной придирчивостью проверял все, еще и еще раз обращался к тем, кто мог разобраться, и всегда снова подтверждалось: прибор гениален. Если кому-то не нравится это слово, скажем так: прибор опережает техническую мысль на несколько этапов, на десятки лет, и только с его помощью можно создавать науку и технику будущего. Те, кому предоставлено право решать, что надо и что не надо выпускать на заводах, не могли разобраться в приборе и отвергали работу Виктора, руководствуясь инстинктом руководителя, заставляющего опасаться людей молодых, никому не известных, добивающихся чего-то непонятного. Те, кто понимал, ничего не решали и лишь сочувственно рассказывали об аналогичных случаях из своей жизни: «Дорогой мой! А вы знаете, сколько лет я ходил со своим измерителем шума...»

Из автомата возле гастронома он позвонил Ирине, из будки видел, как выходящие из дверей магазина мужчины приостанавливаются на мгновение, поднося к лицу бутылки и рассматривают их в свете витрины, а затем торопливо исчезают, и уже знал, что в любом случае купит такую же бутылку и поедет к Андрею.

— Ты был в министерстве?

— Да. Поэтому мне и нужно к Андрею.

— Только, пожалуйста, не пей.

— Я никогда не пью.

— Не пей. Пожалуйста, не надо.

За эти восемь лет ее «пожалуйста, не надо» осталось прежним и особенно бесило Виктора, когда относилось к его встречам с друзьями: еще раз подтверждалось, что Ирина совершенно не понимает его, принимая за какого-то пошляка, стремящегося убежать от жены и напиться.

— Купи пирожных Валерке. Ах, да... Ты же поедешь не домой.

Виктор повесил трубку и грубо выругался: Ирина специально сказала гадость, чтобы испортить ему вечер, чтобы он казнился тем, что мальчик, видите ли, остался без пирожных. А где он возьмет деньги на пирожные? Сама же прекрасно знает, что с утра, кроме рубля на

обед, у него не было ни копейки. Не может же она знать, что он утаил десятку от премии...

Андрей жил в старинной коммунальной квартире с высокими грязными потолками и мрачным коридором, в котором пахло еще дореволюционной пылью. В его маленькой комнате, холодной от плохо заклеенных окон и душной от непрерывного курения, были только книги, кровать и старый круглый стол без скатерти. Со стола убирались черновики гениальных трудов и вместо них ставились плохо вымытые стаканы и банка с квашеной капустой.

Здесь всегда понимали и поддерживали. «Я устал бороться», — говорил Виктор, но ему добро возражали: «Не паникуй, старик. Твой прибор — это вещь, а настоящая вещь скажет сама за себя». И он с теплом в глазах и с горечью в сердце думал о верной мужской дружбе и о холоде семейного одиночества. «Нет у меня тыла, ребята, — жаловался Виктор. — Если бы не Валерка...» Иногда там бывали и девушки, такие же понимающие и сочувствующие.

Вчера Виктор выпил полстакана водки, удобно откинулся на старой жесткой тахте, подложив под спину подушку, и сказал, что настала пора решительных действий, что бездарности сильны своей подлостью, а талантливые одиночки гибнут из-за своей порядочности, что надо немедленно писать и идти в один большой дом, а может быть, сразу и в совсем большой дом, что если там узнают о том, как эти невежественные руководители тормозят технический прогресс, то обломится всем...

Лицо Андрея от водки становилось широким, добродушно-рассеянным, и он говорил, глядя куда-то сквозь Виктора: «Верно, старик. Антона пора гнать. Он же могильщик новой техники... И Ивана пора гнать... И министра пора гнать...»

Домой Виктор возвращался поздно и всю дорогу сочинял заявление о засевших в министерстве противниках научно-технической революции, удивляя редких поздних пассажиров метро. Впрочем, в этот час много встречается изможденных мужчин с темными лицами и красными опухшими глазами, что-то возбужденно бормочущих и кому-то грозящих.

Он не заметил, что Ирина была очень бледна, зато четко определил, что она, по обыкновению, нарочно тер-

зает его скорбно потупленным взглядом и молчанием, прерываемым лишь необходимымн «Есть будешь?», «У тебя иа завтра деньги остались?». Не подействовало — ударила сильнее: «Валерка долго не спал, ждал тебя, хотел похвастаться, что пятерочку принес».

— Мои дела тебя, конечио, не интересуют! — вскипел Виктор, н началась вечно повторяющаяся ссора, которая могла бы продолжаться бесконечно, еслн бы не надо было спать и завтра идтн на работу.

Ирина, превратившаяся в худощавую тнхо послушную женщину с морщииамн на лбу, давно терзала его своим скорбиым молчанием, в котором он видел вечный упрек. Разобравшись, что муж инчего не собнрается делать для увеличения своей зарплаты, для сочинения диссертацин нлн для получеиия должностн, хотя бы иемного более высокой, чем старший инжеиер, Ирнна попросту потеряла интерес к его делам. Вернее, осудила все, что для него было главным в жизни, но не высказывала это прямо — зиала, что прозвучит некрасиво: сама инженер-хнмнк н имеет поиятие о значеиии слова «творчество», а казнила Виктора молчаливым равнодушием. Даже единственный видимый успех — авторское свидетельство, раскрашеииый лнсток с зеленой лентой н красиой зубчатой печатью, успех такой же сладкий и такой же призрачный, как первое опублнкованное стихотворение для юнощн, мечтающего стать поэтом, даже этот малеиький успех Ирниа встретила показным равнодушием: «Ну, что ж? Поздравляю. Ты что будешь ужииать?»

Ирина стелнла постель с подчеркнутой аккуратностью и, разгладив простыиь, тяжело села, почтн упала, Виктор и теперь ничего не заметнл.

— Что же ты молчншь? — иалетел он на жену. — Рада, что у меия все разбито? Так знай: мне теперь незачем жить.

— Обо мне ты, конечно, не думаешь, но у тебя есть сын.

— Сын! Сын! Человек должен в жнзнн сделать несколько больше, чем вырастить детеныша. Я ие голубь! Я не мещанин!..

Все их ссоры своднлнсь к тому, к чему сводятся ссоры во многих семьях: он обвннял жену в том, что она не поинмает его, не помогает ему в осуществленин

его замыслов, а жена обвиняла его в том, что он не любит ее, не думает о ней, не уделяет ей внимания.

Ирина продолжала медленно стелить постель, часто останавливалась, присаживаясь, чтобы отдышаться, а Виктор метался по комнате и обвинял бездарностей, не дающих дороги талантливому человеку, обвинял мещан, живущих на земле лишь для того, чтобы жрать, пить и производить детей. Ирина сказала, что он считает бездарностями и мещанами всех нормальных людей, которые на работе занимаются своим делом, а дома ведут нормальную семейную жизнь и воспитывают детей. Виктор злорадно ловил ее на слове, что она считает его ненормальным, и повторял одно из любимых своих изречений о том, что жизнь — это не обыкновенность, не правило, а исключение, что по-настоящему живет лишь тот, кто живет не так, как все...

— А с ними я буду бороться до конца, — сказал он, вспоминая о своем решении. — Настала пора действовать решительно. Я им сделаю!.. Я его заставлю!..

Ирина закончила с постелью и села в старое кресло, покрытое измятым чехлом. Лицо ее побледнело до синевы.

— Что ты хочешь сделать?

— Я буду бороться. Я завтра же пойду!.. Я напишу!..

Наверное, лицо его стало отвратительно злобным в этот момент, и Ирине не нужно было вникать в смысл его планов для того, чтобы их осудить. Она простонала как от боли:

— О-о!.. Ты напишешь донос!..

— Это не донос! Это разоблачение. Он обманывает государство...

— Он напишет донос! Я устала от мужа гения, так теперь он станет доносчиком! Откуда ты знаешь, что твой прибор так нужен людям и ради него можно писать донос на человека? Откуда тебе известно, что все ошибаются, а ты прав?

— Мне это известно по праву таланта. Никто не может судить меня, потому что моя мысль опередила всех. Мне должны поверить. А ты не веришь! Я не вижу помощи! Я одинок в борьбе!

— Не надо! Пожалуйста, не надо! — простонала Ирина, и он почувствовал наконец что-то особенное, что-то страшное в ее бледности, в ее голосе, потускневшем,

потерявшем былую звонкость. — Пожалуйста, не надо. Я устала.

Успокоить бы ее, смягчить чем-нибудь нелепую ссору, разогнать повисший над ними невидимый тяжелый туман злых слов, но Виктор считал, что это его должны успокоить: ведь весь мир против него.

— Я тоже устал, — сказал он уже потише, но угрюмо, и начал быстро раздеваться, кое-как разбрасывая одежду.

Виктор лег на свое место у стены и взял книгу, которую читал уже несколько недель вот так, по вечерам. Днем он читал другие книги, а эту — биографию Королева, запланировал читать перед сном, чтобы в заботах следующего дня вдохновляться великим примером, однако обычно засыпал на первой же странице и по утрам не помнил, о чем читал накануне. Зато книга помогала не смотреть на Ирину, когда она раздевалась медленно, покорно, как в кабинете у врача — не стесняясь и без тени кокетства. На ней всегда все было белое, свежее, тонкое, и тело ее, хоть и исхудавшее, оставалось молодым и округлым. Виктор сосредоточенно читал и заставлял себя забывать о девушке, выходившей из пруда навстречу ему в предутренний час, о девушке, воспитанной в духе ленинградского доброго послевоенного идеализма, ставшей умной понимающей женой, старающейся не замечать неудач и ошибок мужа. В течение многих лет на ее лице застывало выражение примирительной благопристойности, как у хорошей учительницы, пытающейся поладить с хулиганами учениками. А для Виктора Ирина была соучастницей неудач, женщиной, которой он никогда не создал никакой, хотя бы самой малой, радости: ни платья, ни шубки, ни поездки на юг, ни праздника с цветами и шампанским. А такую женщину любить нельзя, и если любишь, то скрывай свою любовь, будь холодным и угрюмым, отворачивайся от ее обнаженного тела и смотри в книгу.

Ирина попросила погасить свет, а он ответил грубо: «Я должен прочитать запланированное». Однако, по обыкновению, не смог осилить и страницы — глаза закрылись, и книга упала. Ирина погасила свет, и, уже засыпая, Виктор услышал ее вздох, такой тяжелый и исполненный муки, что едва начавшийся сон его прервался, как от толчка.

— Что с тобой?

— Я устала.

— Отдыхай. Спи.

— Я вообще устала. Ты помнишь, мы ходили на кладбище тогда, и я ушла от тебя к склепу? Знаешь зачем? Я написала там, на стене: «Господи, помоги мне в любви. Пусть Витя навсегда останется со мной». Недавно я была там. Надпись до сих пор цела.

Может быть, ничего бы и не случилось, если бы он приласкал ее, но для этого требовалось шевелиться, приподниматься, а тело уже снова наливалось сонной тяжестью, и еще что-то неосознанное остановило его. Потом он понял: это «что-то» было необычным холодом, который ощутила рука, прикоснувшись к телу Ирины.

Засыпая, Виктор снова услышал тяжелый вздох, похожий на тихий стон, и на этот раз не проснулся, а остался в каком-то вязком полусне — вроде бы и спал, но в то же время и прислушивался. Наверное, так спят кошки, внимательно напрягая остренькие свои уши. Внутри него что-то более умное, доброе и внимательное, чем его разум, почувствовало боль Ирины и насторожилось.

В своем чутком полусне Виктор слышал, как Ирина ворочается, вздыхает, постанывает. В какой-то момент тот добрый и внимательный, что дежурил за него, заставил совсем проснуться, и Виктор увидел, что Ирина лежит на спине с открытыми глазами.

— Я не знаю, что со мной, — сказала она. — Мне душно.

Он сразу же поднялся, открыл форточку и даже в мыслях не упрекнул жену в причудах. Он уже что-то почувствовал и оставшуюся часть ночи то и дело просыпался, приносил Ирине пить, открывал и закрывал форточку. Перед утром он крепко заснул и, проснувшись, увидел, что Ирина за ночь осунулась, щеки ее ввалились и стали бледно-лиловыми.

— Меня тошнит, — простонала она.

Виктора вдруг затрясло — это опять внутренний таинственный друг сообщал, что дело плохо.

«Скорая помощь» равнодушно ответила, что врач скоро будет. Виктор снова набирал номер, вызывая раздражение дежурных, но ему было легче, когда он что-то делал: звонил, подавал Ирине воду, таз, полотенце. Причем все делалось им с лихорадочной поспешностью, даже

с какой-то показной торопливостью, словно он старался показать кому-то, от кого все зависит, что он хорошо исполняет свой долг и пусть за это Ирина выздоровеет.

А в мозгу стучало: «Все! Они меня сломали. Я прекращаю борьбу!» Он отказывался от прибора, от науки, от славы, от высшего долга — от всего, что только сейчас казалось главным в жизни, пусть только Ирина выздоровеет. Он осыпет ее цветами, и будет стоять перед ней на коленях, заглядывая в глаза и ловя воскресшую улыбку. Разве стоят все приборы и все формулы, придуманные на земле, того, что зовется Ириной?

Виктор, прожив, наверное, уже половину своей жизни, только в это утро понял, что человек — это совсем не тело его, страдающее или наслаждающееся, не красота его лица или плеч, не слова его и движения, а нечто невидимое, таящееся где-то в небольшом объемчике, прикрытом щитком лба и излучающее свою сущность сиянием глаз, волнением голоса, еще чем-то непонятным, похожим на необоняемый запах или свет, воспринимаемый таким же таинственным нечто другого человека, и любовь к этой главной человеческой сущности нисколько не может быть поколеблена какими-то проявлениями телесной оболочки.

Валерку надо было провожать в школу, и по медленным тихим командам Ирины Виктор поднимал его, одевал, варил манную кашу. Мальчик почему-то очень спокойно воспринял болезнь матери. Виктор боялся, что сын расплачется, разнюнится, а Валерка только переспросил нежным своим голоском: «Ты, мамочка, немножко заболела?» — и сразу занялся своими делами: умывался, одевался, ел. Виктор осторожно объяснил ему, что маму придется положить в больницу, может быть, надолго, а сын рассказал, что «вчера пятерочку принес». Проходя из кухни в свою комнату и обратно мимо Ирины, он не смотрел на мать и, уходя, попрощался с ней из коридора. Правда, все утро Валерка ни разу не улыбнулся, а днем, встречая его из школы, Виктор заметил, что мальчик похудел.

— Неужели я его больше не увижу? — сказала Ирина и заплакала.

Она, не шевелясь, лежала на спине, и Виктор сам утирал ей слезы.

Приехал доктор — маленький невыспавшийся стари-

чок, подрабатывающий на дежурствах, и Виктор сразу определил его принадлежность к тому бездарному большинству людей, которое лишь делает вид, будто выполняет какие-то человеческие функции — лечит, строит, руководит, а на деле — с равнодушной покорностью отдается той слепой стихии, какой является мир без человеческой творческой деятельности. Такой инженер — перечерчивает давно известные конструкции, такой руководитель — ничего не решает, такой врач — измеряет пульс, слушает дыхание, исписывает много маленьких бумажек, но даже и не помышляет о том, чтобы вмешаться в болезнь, остановить ее и изгнать. Такому дипломированному спокойному свидетелю человеческих страданий Виктор предпочел бы какого-нибудь невежественного шамана, вкладывающего истинную страстность в свои заклинания.

— Она же истекает кровью! — возмущался Виктор.

— Как вам сказать? — мямлил доктор, выписывая направление в больницу. — Все может быть. Специалист посмотрит... Можно пока лед положить...

— Можно или нужно? А где я возьму лед?

— А вы в холодильничке заморозьте... В холодильничке...

Вскоре приехала машина больничной перевозки с санитаркой — красивой девушкой в темной шинели, и Виктору на некоторое время показалось, что в пошатнувшемся мире все постепенно вновь находит свои места: человек заболел — его кладут в больницу, и санитарка подтвердила обыденную реальность происходящего, сказав неожиданным сиплым басом: «И вы тоже ехайте».

В больнице ему разрешили пройти к Ирине, и он вместо ожидаемой тихой белой палаты, наполненной сосредоточенно добрыми людьми в белых халатах, увидел длинный коридор, освещаемый лампочками даже днем, с длинным рядом кроватей вдоль стен, с разметавшимися на них одеялами, с растрепанными женщинами — седыми, рыжими, черными, сидевшими на кроватях в выцветших голубых халатах или в измятых широких сорочках. На кровать Ирины падал свет из двери в палату, где лежала тяжело больная, может быть умирающая, высохшая до костей, со шприцем, воткнутым в откинутую руку и присоединенным к ка-

пельнице. Из палаты шел густой кофейно-сладкий запах гниющей плоти.

Виктор поговорил с доктором и понял, что здесь Ирина не тот единственный человек, ради которого он готов отказаться от всего мира, а одна из многих больных, страдающих, оперируемых, выздоравливающих или умирающих. Потом позвонил Андрею и другим друзьям. Все они были здоровы и никогда не лечили жен, тем более что все почти были холосты. «Не теряйся, старик, — говорили они ему. — Обойдется. Для тебя главное — работа, прибор...»

В институте Виктора окружили взволнованные сотрудницы, искренне потрясенные болезнью Ирины. Виктор всех их глубоко презирал за полнейшее непонимание выполняемой работы — тем не менее они что-то там выполняли. Самая решительная и самая деятельная, за что ее и выбрали профоргом, сказала, что Виктор должен ехать в министерство, зайти к тому, другому, третьему и добиться перевода Ирины в специальную клинику. «С начальником я договорилась, — объяснила профорг. — День тебе нужен — день на работу не приходи. Неделю — неделю не приходи. Месяц — можешь месяц не являться. Оформим». Она любила проявлять решительность, любила всякие субботники, где со страстью руководила, пела песни тридцатых годов и покрикивала на сотрудников, называя их «ребятами» и «девчатами». За это Виктор ее не переносил.

В министерстве Виктор бродил по коридору мимо кабинетов, где его давно знали, как маньяка-изобретателя, мешающего людям работать. При его появлении сотрудники обычно оживленно переглядывались и сразу же сосредоточенно вникали в бумаги, а того, к кому Виктор обращался, через некоторое время по телефону срочно вызывали к начальству.

У дверей кабинета главного инженера главка, того самого, кого в своем кругу называли Антоном, сидели ожидающие приема, и один из них, какой-то командировочный с юга, рассказывал неопытному соседу о том, какой «очень большой человек Антон Петрович. Очень много может сделать. Однажды, понимаешь, уборщица пришла к нему. Простая уборщица. Коридоры в министерстве подметает...» Виктор знал ту историю, рассказываемую обычно министерскими сотрудниками для

подтверждения того, что Антон — «хороший мужик». Дело заключалось в том, что сына уборщицы исключали из института за неуспеваемость, и Антон, бросив все дела, чуть ли не полдня звонил по всем инстанциям и в конце концов спас парня. Когда эту историю рассказывали при Викторе, он холодно замечал: «А собственно зачем держать в институте балбеса?» Для Виктора Антон был одним из тех невежественных бюрократов, которые не понимали его прибора, но решительно запрещали его промышленный выпуск.

У двери на лестницу Виктора окликнул знакомый сотрудник технического отдела, дымивший здесь папиросой. Даже знакомым его нельзя было назвать: ни имени, ни фамилии Виктор не помнил — просто несколько раз этот сотрудник готовил для него служебные письма, которые потом относил на подпись Антону.

— Ну как? Все ходишь? Пробиваешь?

— Не до этого мне сейчас.

— Я вот тоже вчера...

Сотрудник, уже пожилой человек, но с живым блеском в глазах почему-то подумал, что у Виктора такие же проблемы, как у него самого, и рассказал, что в воскресенье он с Антоном писал справку для министра, а вчера за это взял отгул. «Вернее загул: ребята из моего полка приехали. Я же летчик-истребитель. Всего два года как демобилизовался. Антон меня сразу к себе взял. Он любит бывших офицеров. Сам всю войну прошел. Квартиру мне дал запросто. Без всяких норм и очередей». «Пока, говорит, в стране хозяева мы — старые солдаты». Да... Развернулись мы вчера. И в Сандуны, и в Арбат, и почему-то сначала на Белорусский вокзал попали, а ночью вышли из ресторана, всю площадь два раза обошли — мост не можем найти. Был же возле Белорусского вокзала мост — так оказывается, мы уже на Киевский переехали».

— А вот, у меня с женой...

Выслушав, сотрудник схватил Виктора за рукав: «Пошли к Антону: он тебе все сделает. Ты еще не знаешь, какой это мужик. А я заодно письмишко подпишу у него...»

Поздно вечером Виктор перевез Ирину в специальную клинику, которой руководил молодой, но преждевременно поседевший усталый доктор, автор нового

метода лечения. Много лет и много сил потратил он на просьбы, заявления и объяснения, пока наконец не получил эту клинику.

Ирину положили в отдельную палату. У нее снова открылось кровотечение, и Виктор долго ждал, чем все это кончится. Лишь ночью ему сказали, что наступило временное улучшение и пустили попрощаться. Ирина лежала совсем обессилевшая и лишь прошептала: «Пожалуйста, не надо...»

Виктор вышел на улицу и увидел над черными тополями ярко-голубое выпуклое стеклышко Юпитера. Запрокинув голову, он стоял, глядя во вновь открывшееся для него звездное небо, и думал, что с той же необходимостью, с какой совершают свой предназначенный круг небесные тела, он будет совершать свое дело на земле; что бы там ни случилось с Ириной, Антоном или со всей Вселенной. «Нет! Они меня не сломали, старик, — говорил он Юпитеру. — Я исполню свой долг перед людьми».

Венеру он не мог отыскать, и не у кого было спросить, как служить людям, чтобы не делать им зла, не заставлять их истекать кровью...

Санька — дальний родственник

— Саньку помнишь?

— Какого еще Саньку? Подожди, я лимончик порежу.

Хорошо встречаться с другом детства и волновать сердце сладкими и острыми воспоминаниями о том, что было и что никогда уже больше не будет. О том, какие чудесные яблоки были на той развесистой яблоне, что у забора — большие, сочные, «с кваском», как говорила бабушка. О том, как хорошо брался окунь в заводи у Белого моста.

— А Саньку помнишь?

— Какого Саньку? Сашку? Сашка защитился — кандидат технических наук. Лабораторию получил... Мелочь, конечно, но все-таки приятно...

Посмеялись. Задумались. Вспомнили поток лиц. Разных, одинаковых, исчезающих. Когда-то с ними связывало что-то важное. Казалось, что они — это и есть жизнь. А теперь ушли они все далеко куда-то и, наверное, навсегда. Бывает, встречаются какие-то люди с теми же фамилиями, с теми же чертами лица. Но это совсем другие люди. Чужие, незнакомые.

— А напрасно ты тогда на Верке не женился.

— Валентина тоже хорошая жена.

Валентина — хорошая жена, но сердце дрогнуло вдруг и заныло, будто прикоснулось к чему-то острому и горячему...

Ночью было прохладно и тихо. Только поезд стучал где-то вдали, и цикады рассказывали свои вечные грустные сказки.

Ее глаза стали большими и темными, как тени под крышей ее дома. И стволы деревьев в палисаднике тоже таинственно темнели. Только в глазах ее искорки вспыхивали.

— Не уходи, — прошептала она. — Останься у меня сегодня.

И ее шепот растаял, смешался с легким случайным ветерком, колыхнувшим вдруг звучную листву спящих вишен. А потом лишь дверь стукнула, заскрежетала задвижка, да зажужжали в густой и теплой темноте спальни потревоженные мухи, когда она сдернула покрывало с кровати...

— А как на заводе? Порядок?

— Хорошо на заводе.

Там хорошо. Там порядок. Просторный цех, голубой от потоков света, падающего со стеклянного потолка. Голубой от стройных шеренг блестящих светлых станков. Или, может быть, это уверенно-сдержанный мерный рокот станков разливается по цеху голубым туманом? Голубой шум заглушает все мелкое и ненужное, втягивает в свой уверенный ритм, и сердцу здесь становится просторно и спокойно.

— Что за народ у тебя?

— Хорошие ребята. Особенно молодежь. Нигде не встретишь таких ребят.

Новое поколение молодых, ироничных, уверенных. Приходится завидовать этому поколению так же, как приходилось завидовать старшим — поколению Великой Отечественной.

— Как сын?

— Отличник. Музыке учится. Сейчас детям хорошо. Да и у нас было детство хорошее.

Хорошее было детство. Настоящее детство, которое можно и любить и лелеять. Прекрасное было детство.

— Так Саньку-то помнишь? Родственник какой-то дальний.

— Ах, тот Санька!..

Наконец вспомнилось это. Не то, чтобы неприятное, но какое-то отдельное, другое, выпадающее из всего того золотого лета...

В тот день они с Мишкой натянули луки и разыгра-

ли сражение между гуронами и делаварами. Нужно было, скрываясь в густой пахучей траве, подкрасться к противнику и поразить его тонкой гибкой стрелой.

Мишка спрятался за широким пушисто-белым кустом жасмина, и, чтобы напасть на него, приходилось лезть через колючий крыжовник. Этот маневр не удалось довести до конца, потому что бабушка зачем-то позвала в дом.

Азарт неоконченной боевой игры ворвался вместе с ними в комнаты и мгновенно исчез, растаял, будто ударившись о нечто неожиданное и странное, поднявшееся в доме. Прежде всего они увидели брюки. Именно брюки, а не человека. Потому что они не привыкли видеть таких брюк — вместо волнисто спадающей складки остро отутюженных клешей — какие-то узкие синие штанины, круглые, как трубки, обтягивали ноги и высоко открывали босые ступни с острыми щиколотками, густо закрашенные иссиня-пепельными красками дальних дорог.

Вообще-то это был мальчик лет двенадцати, их ровесник, и роста небольшого. Только плечи у него были широкие и ссутуленные; будто приспособленные для переноски чего-то большого и тяжелого. Он держал грубые черные ботинки, связанные шнурками. Видно, издалека пришел босиком с ботинками в руках.

— Это — Саня, наш дальний родственник, — сказала бабушка. — Он живет в колонии и пришел к нам повидаться.

Это был колонист!

Один из тех загадочных страшных и смелых, у которых в подкладках зашиты финские ножи. Один из тех, о ком снят запретный фильм «Путевка в жизнь», запретный для ребят, но почему-то всеми просмотренный. Один из тех, кого называют «Мустафа», «Жиган» или «Колька Свист».

Санька был колонистом! Но вот брюки у него были странные.

И ел он странно. Как-то невесело, тяжело. Бабушка положила ему большую полную тарелку сладкого лапшевика с творогом. Это блюдо — почти торт. Его нужно смаковать, поливая густым белым соусом-кремом. А Санька запихивал в рот огромные куски этого нежного блюда, как будто ел какую-нибудь картошку. И, за-

бывая про соус, который заботливо, по-хозяйски придвигал ему Мишка, не забывал заедать сладкую лапшу большим ломтем ржаного хлеба. При этом краснели и шевелились большие уши Саньки и влажнела короткая щетина стриженой головы. Бабушка смотрела на него пригорюнившись и тяжело вздыхала.

Потом пошли в сад, и там Санька был неинтересным и странным. Он ничего не рассказывал, отвечал невпопад и все время тянулся к пахучим кустам смородины.

— Тетка не заругает? — спрашивал он, осторожно срывая густые грозди влажных чернильно-блестящих ягод смородины.

— Она же невкусная, — говорил Мишка. — Мы только белую смородину едим, а из черной варенье варят.

Санька так же охотно и много ел и белую смородину, и красную, и яблоки. Даже гнилые и червивые яблоки ел. Так же ел, как и сладкий лапшевик. Дали бы ему хлеба, так и сладкую смородину заедал бы черным хлебом.

И ничего интересного так и не рассказал. Никаких страшных приключений. Ничего ни о бандитах, ни о финских ножах. Только сам все спрашивал о Москве, о школе, о девочках, о родителях.

— А мамка ругается? — спрашивал он. — Не лупит?

— Еще чего! Только и знает что с поцелуями да с подарками лезет.

В общем, оказалось, что с колонистом скучно. Не знал он ничего о знаменитом центре-форварде Федотове, не читал «Гиперболоид инженера Гарина», не знал, что самая ценная марка для коллекции, которой ни у кого нет — это «перевернутый лебедь».

— А кем ты будешь, Санька, когда окончишь эту... свою колонию?

— По токарному делу хочу работать, — ответил Санька.

Вот даже как! Не моряком, не пограничником, не летчиком, а просто токарем хотел стать колонист Санька.

— У нас есть один станок хороший, — продолжал он, — ДИП называется. Значит: догнать и перегнать. Мне разрешают на нем работать, — неожиданной гордо-

стью сверкнули его глаза. — Токарем хорошо. Сейчас пятилетка, много нужно строить машин, тракторов, комбайнов. Чтобы лучше было... Чтобы хлеба было больше... И получают токари хорошо. А что, вечером опять вас тетка кормит?..

Вторая стадия встречи с другом — покалывание в сердце и унылые мысли о том, что все уже было, и не все что было, было хорошо. Разве хорошо уходил тогда Санька? В эту свою колонию? Уже не босиком (бабушка дала ему какие-то старые ботинки), но в тех же странных коротких брюках-трубочках. Грустный и какой-то постаревший, пытающийся улыбнуться и подмигнуть.

— Так ты вспомнил Саньку, дальнего родственника?

Вспомнил. Ему-то, наверное, удалось осуществить свою мечту — стать токарем? А после смены возле магазина третьего ищет?.. Такое наше поколение. Героями не успели стать, а разочароваться поспешили. Были бы мы постарше — война научила бы нас, заставила бы стать солдатами. Будь мы сейчас помоложе — увлеклись бы физикой двадцатого века... Так что Санька?

А Санька, оказывается, успел.

Когда в жаркий августовский полдень сорок второго года их вывели на площадь, никто не думал, что это серьезно. Только лица их были землисто-серые, с отросшими бородами, с остановившимися глазами. Пять человек их было. Четыре мужика в линялых, с пятнами соли, гимнастерках, болтающихся на тощих телах, и пятый мальчишка в коротких заплатанных брюках-трубочках. Неуловимый партизанский связной — Санька. Четырнадцатилетний мальчишка, путавший на допросах гестаповцев и так ничего и не сообщивший о тайнах лесных тропинок.

Их поставили лицом к затихшей от зноя и ужаса площади, и кто-то, в синем мундире, стал выкрикивать холодные и громкие слова-жестянки. Санька стоял с краю. Он не слушал того, что читают. Он оглянулся и посмотрел через плечо назад и немного вверх, туда, где чуть покачивалась, закрывая свет неба, ослепительно черная

петля. Всего было пять петель, но он видел одну. Ту, которая для него.

— В музее там фотографии из немецкого архива... — Мишка задержал слово «висят», — я переснял.

Рядом с твердыми обросшими мужиками-партизанами стоит босой мальчишка в коротких узких брюках и, повернув длинную худую шею, смотрит через плечо назад и немного вверх — туда, где покачивается черная петля.

— Теперь детский дом называется «Имени Александра Брянского»...

...Стоит мальчишка и смотрит в далекое небо, перечеркнутое петлей. Мальчишка, всего четырнадцать лет потоптавший землю босыми ногами. Не видевший больших таинственных глаз девушки, отпирающей ночью свою дверь. Не слышавший, как шумит голубым шумом новый широкий цех. Не узнавший, как мягка и доверчива ручонка сына.

Мальчишка, не разбиравшийся в футболе и никогда не имевший коллекции марок.

Мальчишка из поколения тех, кто не успели стать героями и поспешили разочароваться?

Нет!

Из поколения тех, которые ничего не успели получить и поспешили отдать все!

Как же мне жить теперь? Где тот бой, в который я пойду впереди твердо и без страха, как шел Санька? Где я смогу отдать свою жизнь так же просто и щедро, как Санька?

Найду ли я сегодня тот единственный правильный и трудный путь, по которому должен пройти доставшиеся мне долгие дни, чтобы хоть в чем-то немногом стать достойным Саньки — своего дальнего родственника?

Содержание

Рынкевич Владимир Петрович

СЕМИНАР ПО ФИЛОСОФИИ
Рассказы и повести

Редактор **С. Лисицкий**
Художник **В. Кошкин**
Художественный редактор **Е. Прохоров**
Технический редактор **Л. Киселева**
Корректор **Н. Саммур**

ИБ № 1599. Сдано в набор 22.08.79. Подписано к печати 08.01.80. А09006. Формат 84х108/32. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 11,79. Тираж 75 000. Заказ 2395. Цена 95 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

390012, Рязань, Новая, 69/12
Рязанская областная типография

95 коп.

• СОВРЕМЕННИК •